

**ЧЕЛОВЕК  
ПРЕСТУПНЫЙ**  
КЛАССИКА КРИМИНАЛЬНОЙ  
ПСИХОЛОГИИ

ARBEIT

MASCHTER

**ХАННА  
АРЕНДТ  
ЭРИХ  
ФРОММ**

– Нет, мы ничего  
не знали, Ваша  
честь. Мы даже  
и не смотрели  
в ту сторону.

– Так... значит,  
вы знали,  
в какую сторону  
не стоит  
смотреть.

# В САМЫЙ ТЁМНЫЙ ЧАС

**КАК  
РОЖДАЕТСЯ  
ЖЕСТОКОСТЬ?**

Человек преступный. Классика криминальной психологии

Эрих Фромм

**В самый темный час. Как  
рождается жестокость?**

«Алисторус»

2024

**Фромм Э.**

В самый темный час. Как рождается жестокость? / Э. Фромм —  
«Алисторус», 2024 — (Человек преступный. Классика  
криминальной психологии)

ISBN 978-5-907363-46-5

- И вы действительно не знали, что происходило в Аушвице. Не замечали ничего - Нет, мы ничего не знали, Ваша Честь. Мы даже и не смотрели в ту сторону - Так... значит, вы знали, в какую сторону не стоит смотреть. Самыми страшными охранниками в концлагере были те, кто не выносил человеческих криков. Они злились из-за того, что узники, не понимают, какая тяжелая работа у надзирателей, и стремятся лишь усложнить неизбежное. Таких было большинство: ученые, актеры, учителя и обычные люди. Как вели себя люди в самый темный час в истории Германии? Как рождался демон фашизма и как работает логика геноцида? На этот вопрос отвечают в своих очерках два выдающихся мыслителя, психолога и социолога XX века, на чью долю выпала страшная участь безмолвных свидетелей самой страшной трагедии XX века. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

ISBN 978-5-907363-46-5

© Фромм Э., 2024

© Алисторус, 2024

## Содержание

Ханна Арендт	6
Последствия нацистского правления: репортаж из Германии	2
Подходы к «германской проблеме»	4
Организованная вина и всеобщая ответственность	9
Семена фашистского интернационала	14
Методы социальных наук и изучение концентрационных лагерей	18
Человечество и террор	31
Карл Ясперс	32. Laudatio
33	60
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# **Ханна Арендт, Эрих Фромм**

## **В самый темный час**

### **Как рождается жестокость?**

*Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.*

*Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.*

*Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.*

*Когда они пришли за мной – заступиться за меня было уже некому.*  
**М. Нимеллер**

## **Ханна Арендт**

### **Часть I. Люди в самый темный час<sup>1</sup>**

#### **Последствия нацистского правления: репортаж из Германии<sup>2</sup>**

Менее чем за шесть лет Германия разрушила нравственную структуру западного общества, совершая преступления, которые невозможно было представить, а ее победители превратили в руины зримые следы более тысячи лет германской истории. Затем в эту опустошенную землю, обрезанную границей по Одеру-Нейсе и вряд ли способную поддерживать существование своего деморализованного и истощенного населения, устремились миллионы людей из восточных провинций, с Балкан и из Восточной Европы, добавляя к общей картине катастрофы специфически современные черты физической бездомности, социальной неукорененности и политического бесправия. Можно усомниться в мудрости союзных держав, изгнавших все германоязычные меньшинства из негерманских стран, – как будто бы до этого в мире было недостаточно бездомности. Но факт состоит в том, что европейские народы, пережившие убийственную демографическую политику Германии в годы войны, были охвачены ужасом, еще большим, чем негодование, от самой мысли о том, чтобы жить вместе с немцами на одной территории.

Вид разрушенных городов Германии и знание о германских концентрационных лагерях и лагерях смерти накрыли Европу облаком меланхолии. Вместе они делают память о прошлой войне более долгой и более мучительной, а страх перед будущими войнами более реальным. Не «германская проблема», в той мере, в какой она является национальной в сообществе европейских наций, а кошмар Германии в ее физическом, нравственном и политическом разрушении стал почти столь же явным элементом в общей атмосфере европейской жизни, как и коммунистические движения.

Но нигде этот кошмар разрушения и ужаса так слабо не ощущается и так мало не обсуждается, как в самой Германии. Отсутствие отклика очевидно везде, и трудно сказать, означает ли это полубессознательный отказ поддаваться горю или подлинную неспособность чувствовать. Среди руин, немцы посылают друг другу красочные открытки, по-прежнему изображающие соборы и рыночные площади, которых более не существует. И безразличие, с которым они прохаживаются среди обломков, отражается также в отсутствии скорби по погибшим или в той апатии, с которой они реагируют или, скорее, не реагируют на участь беженцев среди них. Это общее отсутствие эмоций, по крайней мере эта внешняя бессердечность, иногда прикрытая дешевой сентиментальностью, является наиболее бросающимся в глаза открытым симптомом глубоко укорененного, упрямого и временами порочного отказа взглянуть в лицо реально случившемуся и принять его.

Безразличие и раздражение, появляющееся тогда, когда кто-то указывает на это безразличие, можно проверить на многих интеллектуальных Уровнях. Наиболее очевидным экспериментом будет прямо сказать собеседнику о том, что он заметил с самого начала разговора, а именно о том, что ты еврей. За этим обычно следует небольшая смущенная пауза, а затем идет – нет, не личный вопрос вроде «куда Вы отправились, уехав из Германии?» или знак сим-

---

<sup>1</sup> Перевод текстов Х. Арендт: Г. Дашевского, Б. Дубина, Елены Бондал Анны Васильевой Алексея Б. Григорьева Сергея Моисеева

<sup>2</sup> Опубликовано в: Commentary, 1950.

патии, вроде «что произошло с Вашей семьей?», а поток историй о том, как страдали немцы (вполне достоверный, конечно, но неуместный). И если объект этого маленького эксперимента оказывается достаточно образован и умен, он далее обрисует соотношение между страданиями немцев и страданиями других, следствием чего является то, что одно уравнивает другое, и мы вполне можем перейти к более многообещающей теме для беседы. Столь же уклончивой является обычная реакция на вид развалин. Когда какая-то открытая реакция вообще есть, она заключается во вздохе, за которым следует наполовину риторический, наполовину тоскливый вопрос: «Почему человечество должно всегда вести войны?» Средний немец ищет причины прошлой войны не в действиях нацистского режима, а в событиях, приведших к изгнанию Адама и Евы из рая.

Такое бегство от реальности есть, конечно, также и бегство от ответственности. В этом немцы не одиноки; все народы Западной Европы сформировали привычку обвинять в своих несчастьях некую внешнюю силу: сегодня это может быть Америка и Атлантический пакт, завтра последствия нацистской оккупации и каждый день недели история в целом. Но эта позиция более выражена в Германии, где искушению винить оккупационные силы во всем трудно противостоять: в британской зоне во всем винят страх британцев перед конкуренцией со стороны Германии, во французской – французский национализм, а в американской зоне, где ситуация лучше во всех отношениях, – незнание американцами европейского менталитета. Эти жалобы совершенно естественны, и все они содержат зерно истины; но за ними кроется упрямое нежелание использовать многие возможности, предоставляемые инициативе немцев. Это, возможно, наиболее отчетливо проявляется в немецких газетах, которые выражают все свои убеждения в тщательно культивируемом стиле *Schadenfreude*, ехидной радости от разрушения. Это выглядит так, как будто бы немцы, лишённые возможности править миром, впали в любовь к бессилию как таковому и сейчас находят удовольствие в созерцании напряженности на международной арене и неизбежных ошибок в деле управления, независимо от возможных последствий для них самих. Страх перед русской агрессией не всегда приводит к недвусмысленно проамериканской позиции, но часто ведет к решительной нейтральности, как если бы занимать ту или иную сторону в конфликте было бы столь же абсурдным, как становиться на ту или иную сторону во время землетрясения. Осознание того, что нейтральность не изменит чьей-либо участи, в свою очередь не позволяет преобразовать это настроение в какую-то рациональную политику, и само настроение, в силу самой его иррациональности, становится еще более горьким.

Но реальность преступлений нацизма, войны и поражения, по-прежнему определяют всю ткань германской жизни, и немцы разработали массу способов для уклонения от ее шокирующего воздействия.

Реальность фабрик смерти трансформируется во всего лишь потенциальность: немцы делали только то, что способны делать другие (конечно же, со множеством иллюстрирующих примеров), или то, что другие будут делать в ближайшем будущем; поэтому любой, кто поднимает эту тему, тем самым наводит на себя подозрение в излишней уверенности в собственной правоте. В этом контексте политика союзников в Германии часто объясняется как кампания успешной мести, даже несмотря на то, что немец, предлагающий такую интерпретацию, вполне осознает, что большинство вещей, на которые он жалуется, либо являются прямым последствием проигранной войны, либо никак не зависят от воли и возможностей западных держав. Но утверждение, что существует какой-то тщательно продуманный план мести, служит утешительным аргументом, демонстрирующим равную греховность всех людей.

Реальность разрушений, окружающих каждого немца, растворяется в задумчивой, но не очень глубокой жалости к себе, легко рассеивающейся, когда уродливые маленькие одноэтажные строения, как будто бы перенесенные с главной улицы небольшого американского городка, возникают на одной из широких улиц, чтобы частично скрыть мрачность пейзажа и предло-

жить в изобилии провинциальную элегантность в суперсовременных витринах. Во Франции и Великобритании люди испытывают большую печаль по относительно немногим памятникам культуры, разрушенным войной, чем немцы по всем своим потерянным сокровищам вместе. В Германии высказывается горделивая надежда, что страна станет «самой современной» в Европе; но это всего лишь разговоры, и некто, только что выразивший такую надежду, спустя несколько минут, при следующем повороте в разговоре, будет настаивать на том, что следующая война в Европе сделает со всеми европейскими городами то, что эта сделала с немецкими – что, конечно, возможно, но снова свидетельствует только о превращении реальности в потенциальность. Тот подтекст радости, который часто замечают в разговорах немцев о будущей войне, выражает не зловещее возрождение германских завоевательных планов, как настаивают многие наблюдатели, но скорее всего лишь еще один способ бегства от реальности: в итоговом равенстве опустошения положение в Германии потеряет свою остроту.

Но, возможно, самым поразительным и пугающим аспектом немецкого бегства от реальности является привычка обращаться с фактами так, как будто бы они всего лишь мнения. К примеру, на вопрос о том, кто начал войну, который ни в коей мере не является остродискуссионным, отвечают поразительным разнообразием мнений. Во всех иных отношениях вполне нормальная и разумная женщина из Южной Германии сказала мне, что войну начали русские нападением на Данциг; это лишь самый грубый из многих примеров. И эта трансформация фактов во мнения не ограничивается вопросами о войне; во всех сферах имеется что-то вроде джентльменского соглашения, по которому каждый имеет право на свое невежество под предлогом того, что каждый имеет право на свое мнение – и за этим стоит молчаливое допущение, что на самом деле мнения не имеют значения. Это очень серьезно, не только потому, что часто делает дискуссию столь безнадежной (обычно не носишь с собой повсюду библиотеку справочников), но прежде всего потому, что средний немец искренне верит в то, что этот общедоступный, нигилистический релятивизм относительно фактов является сущностью демократии. На самом деле, конечно, это наследие нацистского режима.

Ложь тоталитарной пропаганды отличается от обычной лжи нетоталитарных режимов в экстремальных ситуациях своим последовательным отрицанием важности фактов в целом: все факты могут измениться, и любую ложь можно сделать истиной. Нацистский отпечаток на германском сознании состоит прежде всего в обработке, благодаря которой реальность перестала быть общей суммой строгих, неизбежных фактов и стала конгломератом постоянно меняющихся событий и лозунгов, когда нечто может быть правдой сегодня и ложью завтра. Эта обработка может быть как раз одной из причин удивительно редких следов сколько-нибудь продолжающейся нацистской индоктринации и не менее удивительного отсутствия интереса к опровержению нацистских доктрин. Приходится сталкиваться не столько с индоктринацией, сколько с неспособностью или нежеланием вообще различать факт и мнение. Дискуссия о событиях гражданской войны в Испании будет вестись на том же уровне, что и дискуссия о теоретических достоинствах и недостатках демократии.

Поэтому проблемой для германских университетов является не столько повторное введение свободы преподавания, сколько возрождение честного исследования, знакомство студента с беспристрастным описанием того, что реально произошло, и устранение тех преподавателей, которые стали неспособны это сделать. Опасность для академической жизни в Германии исходит не только от тех, кто считает, что свободу слова следует обменять на диктатуру, при которой единственное необоснованное, безответственное мнение обретет монополию перед всеми остальными, но равным образом и от тех, кто игнорирует факты и реальность и утверждает свои частные мнения не обязательно в качестве единственно верных, но в качестве мнений, столь же обоснованных, как другие.

Нереальность и иррелевантность большинства этих мнений, в сравнении с неумолимой релевантностью опыта их обладателей, резко подчеркивается тем, что они сформировались до



1933 г. Есть почти инстинктивное побуждение искать убежища в мыслях и идеях, которые у тебя были до того, как случилось что-то дискредитирующее. В результате этого, хотя Германия изменилась до неузнаваемости – физически и психологически, – люди разговаривают и ведут себя так, будто с 1932 г. абсолютно ничего не произошло. Авторы немногих действительно важных книг, написанных в Германии после 1932 г. или опубликованных после 1945 г., были уже знамениты двадцать и двадцать пять лет назад. Молодое поколение кажется окаменевшим, косноязычным, не способным к последовательному мышлению.

Молодой немецкий искусствовед, ведя своих слушателей среди шедевров Берлинского музея, которые выставлялись в нескольких американских городах, указал на древнеегипетскую статую Нефертити как на скульптуру, «из-за которой весь мир завидует нам» и затем продолжил, сказав, что (а) даже американцы «не осмелились» увезти этот «символ берлинских коллекций» в Соединенные Штаты и (б) что из-за «вмешательства американцев» англичане «не решились» вывезти Нефертити в Британский музей. Две противоречивые позиции по отношению к американцам были отделены лишь одним предложением: произнесший это, будучи лишен убеждений, всего лишь автоматически подыскивал клише, из числа тех, что были в его сознании, чтобы найти подходящее к данному случаю. Клише чаще имеют старомодный националистический, а не откровенно нацистский оттенок, но в любом случае тщетно пытаться найти за ними последовательную точку зрения, пусть даже и плохую.

С падением нацизма немцы обнаружили, что перед ними снова открылись факты и реальность. Но опыт тоталитаризма лишил их всякой спонтанной речи и понимания, так что теперь, не имея никакой официальной линии, которой они могли бы руководствоваться, они оказались как будто бы безмолвны, неспособны четко сформулировать мысль и адекватно выразить свои чувства. Интеллектуальная атмосфера омрачена туманными бесцельными обобщениями, мнениями, сформировавшимися задолго до того, как на самом деле произошли события, которым они должны соответствовать; подавляет та всепроникающая общественная глупость, которой нельзя доверять в суждениях даже о самых элементарных событиях и которая, к примеру, делает возможной для газеты жаловаться, что «мир в целом опять покинул нас» – утверждение, сравнимое по своей слепой эгоцентричности с ремаркой, которую Эрнст Юнгер, как он пишет в своих военных дневниках (Strahlungen, 1949), слышал в разговоре о русских пленных, отправленных на работы в окрестностях Ганновера: «Сволочи они все. Отнимают пищу у собак». Как замечает Юнгер, «часто возникает впечатление, что германский средний класс одержим дьяволом».

Быстрота, с которой, после денежной реформы, повседневная жизнь в Германии вернулась в нормальное русло и восстановление началось во всех сферах, стала предметом разговоров в Европе. Несомненно, нигде люди не работают так много и упорно, как в Германии. Хорошо известно то, что немцы в течение многих поколений слишком сильно любили работать; и их сегодняшнее трудолюбие, на первый взгляд, подкрепляет мнение о том, что Германия по-прежнему потенциально является самой опасной европейской страной. Более того, имеется много сильных стимулов к труду. Свирепствует безработица, а профессиональные союзы занимают настолько слабые позиции, что рабочие даже не требуют компенсации за сверхурочную работу и часто отказываются сообщать о ней профсоюзам; ситуация с жильем хуже, чем может показаться по множеству новых зданий: деловые и офисные здания для крупных промышленных и страховых компаний имеют несомненный приоритет перед жилыми домами, в результате чего люди предпочитают работать по субботам и даже воскресеньям, а не оставаться дома в перенаселенных квартирах. При отстройке заново разрушенных городов, как и почти во всех сферах жизни Германии, все делается (часто крайне впечатляющим образом) для восстановления точной копии довоенной экономической и индустриальной ситуации, и очень мало делается для благополучия народных масс.

Но ни один из этих фактов не может объяснить атмосферу лихорадочной деловой активности, с одной стороны, и довольно посредственное производство – с другой. Если посмотреть глубже, немецкий подход к труду претерпел серьезное изменение. Старая добродетель стремления к совершенству в законченном продукте, независимо от того, каковы условия труда, уступила место всего лишь слепой потребности быть занятым, жадному стремлению что-то делать в любой момент дня. Видя то, как немцы с деловым видом ковыляют среди руин своей тысячелетней истории, пожимают плечами при виде разрушенных достопримечательностей или обижаются, когда им напоминают об ужасных деяниях, терзающих весь окружающий мир, приходишь к пониманию, что работа стала их главной защитой от реальности. И хочется закричать: но это реально – реальные руины, реальные ужасы прошлого, реальные мертвые, которых вы забыли. Но они – живые призраки, которых слова и аргументы, взгляд человеческих глаз и горе человеческих сердец более не трогают.

Конечно, есть много немцев, которые не соответствуют этому описанию. Прежде всего, есть Берлин, чьи жители, среди самых ужасных материальных разрушений, остались неизменными. Я не знаю, почему это так, но обычаи, манеры, речь, подход к людям даже в малейших деталях так абсолютно отличаются от всего, что видишь и с чем сталкиваешься во всей остальной Германии, что Берлин почти что другая страна. В Берлине практически нет недовольства победителями и явно никогда не было; когда первые британские ковровые бомбардировки стирали город в порошок, берлинцы, как сообщают, выползали из своих подвалов и, видя, как исчезает квартал за кварталом, замечали: «Что ж, если томми собираются продолжать в том же духе, им скоро придется привозить дома с собой». Нет смущения и чувства вины, но открытое и детальное повествование о том, что случилось с берлинскими евреями в начале войны. Важнее всего то, что в Берлине люди по-прежнему активно ненавидят Гитлера и, хотя у них больше, чем у других немцев, оснований чувствовать себя пешками в международной политике, они не считают себя бессильными, но убеждены, что их позиция что-то значит; имея даже незначительный шанс, они, по крайней мере, дорого продадут свои жизни.

Берлинцы работают столь же упорно, как и остальные в Германии, но они не столь занятые, они уделяют время тому, чтобы показать развалины и несколько торжественно перечислят названия исчезнувших улиц. Этому трудно поверить, но что-то есть в утверждении берлинцев о том, что Гитлер никогда не смог их полностью подчинить. Они поразительно хорошо информированы и сохранили чувство юмора и свое характерно ироничное дружелюбие. Единственная перемена в людях – кроме того, что они стали несколько грустнее и с меньшей готовностью смеются – в том, что «красный Берлин» теперь стал неистово антикоммунистическим. Но здесь снова есть важная разница между Берлином и остальной Германией: только берлинцы берут на себя труд четко указать на сходства между Гитлером и Сталиным, и только берлинцы беспокоятся о том, чтобы сказать вам, что они, конечно, не против русского народа – чувство, еще более примечательное, если вспомнить, что случилось с берлинцами, многие из которых приветствовали Красную армию как своих подлинных освободителей в первые месяцы оккупации, и что по-прежнему происходит с ними в Восточном секторе.

Берлин является исключением, но, к несчастью, не очень важным. Ибо город герметично закрыт и мало взаимодействует с остальной частью страны, за исключением того, что везде можно встретить людей, которые из-за неопределенности покинули Берлин, перейдя в западные зоны, и теперь горько жалуются на одиночество и раздражение. Более того, имеется достаточно много «других» немцев, но они расходуют свою энергию на усилия по преодолению удручающей атмосферы, их окружающей, и остаются совершенно изолированными. В некотором отношении этим людям сегодня психологически хуже, чем в наихудшие годы гитлеровского террора. В последние годы войны действительно существовало неопределенное товарищество по оппозиции между теми, кто по той или иной причине был против режима. Вместе они надеялись на день поражения, и поскольку (кроме нескольких известных исключений) не имели

реальных намерений что-либо сделать, чтобы приблизить этот день, они могли наслаждаться очарованием наполовину воображаемого бунта. Сама опасность, связанная даже с мыслью об оппозиции, создавала чувство солидарности, тем более утешительное, что оно могло выражаться лишь в таких неуловимых выражениях эмоций, как взгляд или рукопожатие, которые приобрели совершенно непропорциональное значение. Переход от этой экзальтированной близости, порождаемой опасностью, к грубому эгоизму и все ширящейся поверхностности послевоенной жизни оказывается надрывающим сердце опытом для многих людей. (Можно отметить, что сегодня в Восточной зоне, с ее полицейским режимом, к настоящему времени ненавидимым почти всем населением, существует еще более сильная атмосфера товарищества, близости и полувысказанного языка жестов, чем при нацистах, так что часто лучшим представителям Восточной зоны трудно решиться перебраться на Запад).

Денацификация основывалась на исходном допущении о том, что имеются объективные критерии не только для четкого разграничения между нацистами и ненацистами, но и для всей нацистской иерархии, в диапазоне от слегка сочувствующего до военного преступника. С самого начала вся система, основанная на длительности членства в партии, рангах и занимавшихся должностях, времени вступления и т. д., была крайне усложненной и включала почти каждого. Те очень немногие, кому удалось не влиться в жизненный поток гитлеровской Германии, не были затронуты ею, что, конечно, правильно; но к ним были присоединены некоторые совсем не похожие на них персонажи, достаточно удачливые, осторожные или влиятельные для того, чтобы избежать многих неудобств членства в партии: люди, на самом деле бывшие влиятельными в нацистской Германии, но не подвергшиеся требованию пройти через процесс денацификации. Некоторые из этих господ, в основном из верхушки среднего класса, к настоящему времени установили открытые контакты со своими менее удачливыми коллегами, приговоренными к тюремному заключению за те или иные военные преступления. Это они делают отчасти для того, чтобы советоваться с ними по вопросам экономики и промышленности, но также и потому, что они, в конце концов, устали от лицемерия. Несправедливости системы денацификации были простыми и однообразными: городской уборщик мусора, который при Гитлере должен был стать членом партии или искать другую работу, попадал в сети денацификации, тогда как его начальники оставались безнаказанными, поскольку знали, как уладить такие дела, или получали то же взыскание, что и он – что для них, конечно, имело намного менее серьезное значение.

Еще хуже этих повседневных несправедливостей было то, что система, разработанная для того, чтобы провести ясные моральные и политические разграничения в хаосе совершенно дезорганизованного населения, реально имела тенденцию размывать даже немногие подлинные различия, пережившие нацистский режим. Активные противники режима, естественно, должны были вступать в нацистские организации для прикрытия своей противозаконной деятельности, и члены любого движения сопротивления, существовавшего в Германии, попали в ту же сеть, что и их враги, к вящей радости последних. Теоретически было возможно представить доказательства антинацистской деятельности, но убедить в этом офицеров оккупационных армий, не имевших ни малейшего представления обо всех хитросплетениях террористического режима, было очень непросто. К тому же легко можно было навредить себе в глазах властей, более всего заинтересованных в поддержании мира и порядка, слишком убедительно продемонстрировав способность к независимой мысли и бунтарству.

Сомнительно, однако, что программа денацификации удушила новые политические структуры в Германии, которые могли бы вырасти из сопротивления нацизму, прежде всего потому, что само движение сопротивления было столь маложизнеспособным. Но нет сомнения в том, что денацификация создала новую нездоровую общность интересов среди более или менее дискредитировавших себя, тех, кто по соображениям выгоды стал более или менее убежденным нацистом. Эта влиятельная группа довольно сомнительных персонажей не включает и

тех, кто сохранил добропорядочность, и тех, кто каким-либо впечатляющим образом участвовал в нацистском движении. Было бы неточным в каждом из этих случаев считать, что нежелание в эту группу основывается на конкретных политических убеждениях: исключение из нее убежденных антинацистов не означает, что остальные являются убежденными нацистами, и исключение «знаменитых» нацистов не означает, что остальные ненавидят нацизм. Дело просто в том, что программа денацификации была прямой угрозой для существования и выживания, и большинство пыталось ослабить давление при помощи системы взаимных гарантий, что все это не будет приниматься слишком всерьез. Такие гарантии можно было получить только от тех, кто столь же дискредитирован, сколь и ты сам. Те, кто стали нацистами по убеждению, как и те, кто остались незапятнанными, воспринимаются как чуждый и угрожающий элемент отчасти потому, что их не запугать их прошлым, но также и потому, что само их существование – живое свидетельство того, что происходило что-то действительно серьезное, что было совершено деяние, имевшее поворотное значение. Так получилось то, что не только активные нацисты, но и убежденные антинацисты в сегодняшней Германии не имеют доступа к власти и влиятельным должностям; это наиболее значимый симптом нежелания германской интеллигенции принимать прошлое всерьез или взвалить на свои плечи бремя ответственности, завещанной ей гитлеровским режимом.

Общность интересов, существующую между более или менее скомпрометировавшими себя, еще более усиливает общее немецкое – но не только немецкое! – отношение к официальным анкетам. В отличие от англосаксов и американцев, европейцы не всегда считают, что надо говорить чистую правду, когда официальный орган задает неудобные вопросы. В странах, чьи правовые системы позволяют не свидетельствовать против себя, ложь считается небольшим грехом, если правда наносит ущерб твоим шансам. Поэтому у многих немцев имеется несоответствие между их ответами на анкеты военных властей и правдой, которую знают их соседи; так что узы двуличия укрепляются.

Однако даже не сознательная нечестность привела к провалу программы денацификации. Значительное число немцев, особенно среди наиболее образованных, явно не могут больше говорить правду, даже если этого хотят. Все те, кто стали нацистами после 1933 г., поддались некоторому давлению, которое варьировало от грубой угрозы для жизни и средств к существованию до различных карьерных соображений и размышлений о «непреодолимом потоке истории». В случае физического или экономического давления должна была оставаться возможность мысленной оговорки, циничного приобретения этой абсолютно необходимой членской карточки. Однако любопытно, что, по-видимому, очень немногие немцы были способны к такому здоровому цинизму; их беспокоила не членская карточка, но мысленная оговорка, так что они часто заканчивали добавлением необходимых убеждений к своему принудительному членству, чтобы сбросить бремя двуличия. Сегодня у них есть определенная склонность помнить только первоначальное давление, которое было вполне реальным; из их позднейшего внутреннего приспособления к нацистским доктринам они вывели полуосознаваемое заключение, что предала их именно сама их совесть – опыт, не вполне способствующий нравственному совершенствованию.

Конечно, воздействию повседневной жизни, полностью пронизанной нацистскими доктринами и практиками, было непросто сопротивляться. Положение антинациста напоминало то, в каком оказался бы нормальный человек, помещенный в сумасшедший дом, где у всех обитателей один и тот же бред: в таких обстоятельствах трудно доверять своим чувствам. К тому же имелось постоянное дополнительное напряжение, связанное с необходимостью вести себя в соответствии с правилами безумного окружения, которое, в конце концов, было единственной ощутимой реальностью, где никогда нельзя было позволить себе утратить умение ориентироваться. Это требовало постоянного осознания всего своего существования, внимания, которое никогда нельзя было ослабить до уровня автоматических реакций, используемых

всеми нами для того, чтобы справляться со многими жизненными ситуациями. Отсутствие таких автоматических реакций является главным элементом в тревожности, сопровождающей неприспособленность; и, хотя, объективно говоря, неприспособленность в нацистском обществе была признаком умственной нормальности, напряженность в связи с неприспособленностью была столь же велика, как и в нормальном обществе.

Глубокая нравственная сумятица в сегодняшней Германии, выросшая из этого созданного нацистами смещения истины с реальностью, является чем-то большим, чем аморальность и имеет более глубокие причины, чем всего лишь порочность. Так называемые хорошие немцы часто столь же заблуждаются в своих нравственных суждениях относительно себя и других, как и те, кто просто отказывается признать, что Германией вообще сделано что-то плохое или необычное. Существенное число немцев, которые даже несколько чрезмерно подчеркивают вину Германии в целом и свою собственную в частности, любопытным образом путаются, когда их вынуждают четко сформулировать их мнения; они могут сделать из некоторой не имеющей отношения к делу мухи слона, в то время как нечто реально чудовищное полностью ускользает от их внимания. Одним из вариантов этой сумятицы является то, что немцы, признающие свою собственную вину, во многих случаях являются совершенно невиновными в обычном, земном смысле этого слова, тогда как те, кто в чем-то по-настоящему виновен, имеют спокойнейшую совесть. Недавно опубликованный послевоенный дневник Кнута Гамсуна, который нашел большую и восторженную читательскую аудиторию в Германии, свидетельствует на высочайшем уровне об этой ужасной невинности, превращающейся в манию преследования при столкновении с суждением сохранившего нравственность мира.

Военные дневники Эрнста Юнгера представляют собой, возможно, наилучшее и наиболее честное свидетельство гигантских трудностей, с которыми сталкивается индивид, сохраняя в целостности себя и свои стандарты истины и нравственности в мире, где истина и нравственность потеряли всякое видимое выражение. Несмотря на несомненное влияние ранних работ Юнгера на некоторых представителей нацистской интеллигенции, он был активным антинацистом с первого до последнего дня режима, доказывая, что несколько старомодное представление о чести, некогда принятое в прусском офицерском корпусе, вполне достаточно для индивидуального сопротивления. Но даже это несомненное благородство в чем-то остается пустым звуком; как будто бы нравственность перестала действовать и стала пустой оболочкой, в которую индивид, который должен жить, действовать и выживать весь день, уходит на время ночи и одиночества. День и ночь становятся кошмарами друг для друга. Нравственное суждение, оставляемое для ночи, становится кошмаром страха быть обнаруженным днем; и дневная жизнь — кошмаром ужаса предательства для уцелевшей совести, действующей только ночью.

Ввиду крайне сложной нравственной ситуации в стране в конце войны, неудивительно то, что самая серьезная отдельно взятая ошибка американской политики денацификации была совершена в ходе первоначальных попыток пробудить совесть немецкого народа, указав на чудовищность преступлений, совершенных его именем и в условиях организованного соучастия. В первые дни оккупации везде появились плакаты с фотографиями ужасов Бухенвальда, показывающим на зрителя пальцем и текстом: «Ты виновен». Большинство населения узнало о том, что было сделано его именем, благодаря этим изображениям. Как они могли чувствовать себя виновными, если даже не знали об этом? Все, что они видели, это указующий перст, явно показывающий не на того, на кого надо. Из этой ошибки они сделали вывод, что весь плакат — это лживая пропаганда.

Так, по крайней мере, звучит рассказ, который то и дело приходится слышать в Германии. Эта история в определенной мере вполне верна; но она не объясняет очень бурную реакцию на эти плакаты, которая даже сегодня не вполне сошла на нет, и не объясняет приводящее в замешательство пренебрежение содержанием фотографий. И ярость, и пренебрежение порождаются скрытой правдой плаката, а не его очевидной ошибкой. Ибо, хотя немецкий народ не

был осведомлен обо всех преступлениях нацистов и даже сознательно держался в неведении о том, в какой именно форме они совершались, нацисты позаботились, чтобы каждый немец знал об истинности какой-либо ужасной истории, и ему не нужно было детально знать обо всех ужасах, совершенных его именем, чтобы понять, что его сделали соучастником неопикуемых преступлений.

Это грустная история, которую не делает менее грустной понимание того, что при имевшихся обстоятельствах у союзников было очень мало выбора. Единственной мыслимой альтернативой программе денацификации была бы революция – вспышка спонтанного гнева немецкого народа против всех тех, кто был известен как видный деятель нацистского режима. Каким бы неконтролируемым и кровавым ни было такое восстание, оно несомненно следовало бы лучшим стандартам справедливости, чем бумажная процедура. Но революции не случилось, причем не из-за того, что трудно организовать на глазах у четырех иностранных армий. Весьма вероятно, что не потребовалось бы и одного солдата, немецкого или иностранного, чтобы огранить реальных виновников от гнева народа. Этого гнева не существует сегодня и, по-видимому, не существовало никогда.

Программа денацификации не только не соответствовала нравственной и политической ситуации в конце войны; она быстро пришла в конфликт с американскими планами по реконструкции и переобучению Германии. Перестройка немецкой экономики в соответствии с принципами свободного предпринимательства казалась достаточно убедительной антинацистской мерой, поскольку нацистская экономика явно была плановой, хотя она не затронула (возможно, пока не затронула) отношений собственности в стране. Но владельцы предприятий как класс были хорошими нацистами или, по меньшей мере, твердыми приверженцами режима, который предложил им, в обмен на частичный отказ от частного контроля, отдать в руки Германии всю европейскую промышленность и торговлю. В этом немецкие бизнесмены вели себя таким же образом, как и бизнесмены других стран в эпоху империализма: империалистически настроенный бизнесмен не верит в свободное предпринимательство – напротив, он рассматривает государственный интервенционизм как единственную гарантию надежной прибыли от своих широко раскинувшихся предприятий. Конечно, немецкие бизнесмены, в отличие от империалистов старого типа, не контролировали государство, но использовали партию для реализации партийных интересов. Однако это отличие, сколь решающим оно бы ни стало в долгосрочной перспективе, не проявилось в полной мере.

В обмен на обеспечиваемую государством экспансию, немецкий предпринимательский класс был вполне готов лишиться своих некоторых более заметных властных позиций, особенно по отношению к рабочему классу. Система контролируемой экономики с большей защитой интересов работников, тем самым стала сильнейшей отдельно взятой привлекательной стороной нацистского режима и для рабочего класса, и для верхушки среднего класса. Здесь развитие в этом направлении опять же не прошло всего пути, и государственное или, скорее, партийное рабство, как мы его знаем по России, еще не стало угрозой для немецких рабочих (хотя, конечно, оно было главной угрозой для трудящихся классов всех других европейских стран во время войны). В результате плановую экономику в Германии, без всяких коммунистических коннотаций, помнят как единственную защиту от безработицы и чрезмерной эксплуатации.

Возвращение к подлинно свободному предпринимательству означало передачу предприятий и контроля над экономической жизнью тем, кто, даже если и несколько заблуждался относительно конечных последствий нацизма, был твердым сторонником режима из практических соображений. Если при нацистах у них не было большой реальной власти, они пользовались всеми привилегиями статуса, и это независимо от членства в партии. И с момента окончания войны вместе с почти неограниченной властью над экономикой они вновь получили прежнюю власть над рабочим классом, – то есть единственным классом в Германии, который, хотя и при-

ветствовал вмешательство государства как страховку от безработицы, никогда всем сердцем не поддерживал нацистов. Иными словами, в то время, когда денацификация была официальным лозунгом политики союзников в Германии, власть была возвращена людям, чьи нацистские симпатии документально подтверждены, и отобрана у тех, чья ненадежность по отношению к нацистам была единственным относительно установленным фактом во всей постоянно меняющейся в других отношениях ситуации.

Еще хуже, что власть, возвращенная промышленникам, была освобождена даже от того слабого контроля, который существовал в Веймарской республике. Профессиональным союзам, уничтоженным нацистами, не было возвращено их прежнего положения – отчасти потому, что у них не хватало компетентных кадров, а отчасти потому, что их подозревали в антикапиталистических убеждениях – и попытки профсоюзов восстановить свое прежнее влияние среди трудящихся полностью провалились, в результате чего сейчас они утратили и то малое доверие, которое могло быть унаследовано памятью о прошлых временах.

Упрямые нападки социалистов на «план Шумана» могут выглядеть глупыми для внешнего мира. Однако их можно правильно понять (хотя вряд ли извинить), если иметь в виду, что в нынешних обстоятельствах объединение рейнско-рурской и французской промышленности вполне может означать еще более согласованное и лучше поддержанное наступление на жизненные стандарты трудящихся. Сам факт, что боннские власти, часто считающиеся всего лишь ширмой для интересов промышленников, так усердно поддерживают этот план, кажется достаточным основанием для подозрений. Ибо, к сожалению, верхушка среднего класса Германии ни забыла прошлое, ни извлекла из него уроки; они по-прежнему верят, несмотря на множество свидетельств обратного, что большие «трудовые резервы» – то есть значительная безработица – является признаком здоровья экономики, и испытывают удовлетворение, если могут таким образом сохранять низкие заработки.

Этот экономический вопрос существенно обостряется из-за проблемы беженцев, которая является важнейшей экономической и социальной проблемой сегодняшней Германии. Пока эти люди не расселены, они будут представлять серьезную политическую угрозу, именно потому, что они введены в политический вакуум. Со сравнительно немногими убежденными нацистами, все еще остающимися в Германии, и которые почти без исключения являются бывшими членами СС, их объединяет то, что изгнанники имеют четко сформулированную политическую программу и могут полагаться на некоторую групповую солидарность, – два элемента, отсутствие которых бросается в глаза во всех остальных слоях населения. Их программой является возрождение могущественной Германии, которая сделает возможным их возвращение в свои дома на востоке и мщение изгнавшему их населению. Пока же они охвачены ненавистью и презрением к местным, принявшим их с далеко не братскими чувствами.

В отличие от проблемы, которую представляют остатки нацистского движения, проблема беженцев может быть решена энергичными и разумными экономическими мерами. То, что, в отсутствие таких мер, беженцы поставлены в положение, когда у них практически нет выбора, кроме как основать свою собственную партию, если они хотят, чтобы их интересы были хоть как-то представлены, в немалой степени является виной нынешнего режима, а точнее – следствием влияния лозунга о свободном предпринимательстве, как он понимается или ложно понимается в Германии. Государственное финансирование используется для кредитования крупных предприятий; поощрением малых предприятий (многие беженцы являются квалифицированными рабочими и ремесленниками) почти полностью пренебрегают. Денежные средства, направляемые в помощь беженцам, варьируют от одной земли (Land) к другой, но суммы почти всегда безнадежно недостаточные, не только в абсолютных величинах, но и пропорционально к общему бюджету земли. Недавние предложения боннских властей снизить налоги для предпринимателей – ясный показатель экономической политики правительства – еще более резко уменьшили бы имеющиеся средства для беженцев. Тот факт, что оккупационные власти

наложили вето на эту меру, возможно, дает надежду на то, что американские власти начинают понимать, что лозунг свободного предпринимательства в Германии и Европе в целом имеет иной смысл, чем в Соединенных Штатах.

Действительно, одним из главных препятствий для американской политики в Европе является то, что нет четкого понимания этой разницы. Американская система, в которой власть руководителей промышленности сильно уравновешивается властью организованного труда, вряд ли покажется приемлемой для европейца, верящего в свободное предпринимательство. В Европе профессиональные союзы даже в свои лучшие дни никогда не были в числе признанных властей, но всегда вели неопределенное существование умеренно мятежной силы, действующей с различным успехом в вечной борьбе против работодателей. Более того, в Америке имеется определенное нежелание, разделяемое и нанимателями, и работниками, прибегать к вмешательству государства; иногда всего лишь угроза того, что спор будет разрешен государством, может вернуть конфликтующие стороны к двусторонним переговорам. В Германии и у рабочих, и у работодателей в голове одна мысль: государство должно всеми силами отстаивать их интересы. За возможным исключением Скандинавии, ни в одной европейской стране гражданское население не обладает политической зрелостью американцев, для которых определенная доля ответственности, то есть умеренности в преследовании собственных интересов, есть почти нечто само собой разумеющееся. Более того, это все еще страна изобилия и возможностей, так что разговоры о свободной инициативе пока еще не стали бессмысленными; и сами размеры американской экономики делают практически невозможным всеобщее планирование. Но в европейских странах, где национальные территории постоянно сокращаются соразмерно с промышленным потенциалом, большинство людей твердо убеждено в том, что даже нынешний уровень жизни может быть гарантирован только если будет некоторое планирование, обеспечивающее каждому справедливую долю национального дохода.

За несвязными и совершенно необоснованными разговорами об американском «империализме» в Европе кроется не столь уж необоснованное опасение, что внедрение в Европе американской экономической системы или, скорее, американская поддержка экономического статус-кво может иметь результатом только крайне низкий уровень жизни масс. Социальная и политическая стабильность скандинавских стран является отчасти следствием наличия сильных профессиональных союзов, отчасти – роли кооперативов в экономической жизни и отчасти – продуманного вмешательства государства. Эти факторы показывают по меньшей мере общее направление, которое могло бы принять решение европейских экономических и социальных проблем, если бы в ситуацию не вмешивались нерешенные политические проблемы, и если бы общее положение дел в мире давало бы достаточно времени. В Германии, во всяком случае, система свободного предпринимательства быстро привела к жестоким практикам, монополизации и трестированию, несмотря на все попытки американских властей предотвратить эти процессы.

В политическом плане наиболее серьезным аспектом данной ситуации является не растущее разочарование трудящихся классов, как можно было бы ожидать. Трагическая история германских социалистических партий, по-видимому, истощила их жизненные силы; никогда еще рабочий класс Германии не был в менее революционном настроении. Имеет место несколько озлобленное смирение перед системой, которая им «продается» под торговой маркой демократии, но это недовольство вряд ли может породить какие-то проблемы; напротив, почти гарантировано, что любой режим, каким бы плохим или хорошим он ни был, будет приниматься как нечто безразличное. Совершенно другая и реально опасная сторона дела заключается в том, что, поскольку положение рабочих стало более безнадежным, более незащищенным и более скверным, чем раньше, старый страх перед «пролетаризацией» приобретает новую и мощную мотивацию.



Этот страх особенно охватывает средний класс, который снова потерял свои деньги из-за денежной реформы, в отличие от промышленников, чьи состояния были надежно вложены в недвижимость. Финансовое положение немцев из среднего класса, особенно если они потеряли свое имущество вследствие бомбардировок или став беженцами, никоим образом не отличается от положения обычной рабочей семьи. Но мысль о том, чтобы разделять Участь рабочих на всю жизнь, вызывает глубокое неприятие.

Чтобы избежать этого, молодежь отчаянно пытается наскрести немного марок и поступить в один из университетов – все они переполнены. Это их единственный шанс сохранить статус среднего класса и избежать нищеты пролетаризированной жизни. В Германии везде говорят о том, что через несколько лет будет столько юристов, врачей, преподавателей, искусствоведов, философов и теологов, что очередь из безработных, стоящих за бесплатным питанием, растянется вдоль всех автомагистралей. И большинство этих потенциально безработных студентов получают свои степени ценой ужасающих жертв; многие студенты живут на шестьдесят или семьдесят марок в месяц, что означает хроническое недоедание и полное воздержание даже от самых скромных удовольствий, таких как бокал вина или поход в кино вечером. Академические требования в целом ненамного ниже, чем были раньше, так что фанатичная преданность этих молодых людей учебе, какими бы неинтеллектуальными мотивами она ни была порождена, нарушается лишь время от времени повторяющимися периодами тяжелого физического труда с целью заработать еще немного денег.

Кажется, никто в Германии не сомневается, что огромные жертвы этого поколения студентов могут завершиться лишь тяжелым разочарованием, и не видно, чтобы кто-нибудь серьезно задумывался об этой проблеме. Единственным решением было бы закрытие ряда немецких университетов вместе с безжалостным отсевом выпускников средних школ, возможно, даже введение в других отношениях спорной французской системы конкурсных экзаменов, когда число успешных кандидатов заранее определяется количеством имеющихся мест. Вместо обсуждения мероприятий в этом или ином духе баварское правительство лишь недавно открыло еще один (четвертый) университет в Баварии, а французские оккупационные власти, в противоречащем здравому смыслу стремлении улучшить германскую культуру, даже создали совершенно новый университет в Майнце – что означало появление там шести тысяч студентов, которое усугубило и без того отчаянное положение с жильем в почти полностью разрушенном городе. И действительно, в нынешних условиях потребовалось бы крайнее мужество для принятия мер, которые насильственно опустошили бы университеты; это было бы подобно тому, чтобы лишить отчаявшегося человека его последнего шанса, даже несмотря на то, что этот шанс стал шансом азартного игрока. Какой курс примет политическое развитие в Германии, когда целый класс разочарованных и голодных интеллектуалов придет в соприкосновение с безразличным и угрюмым населением, остается только догадываться.

Даже те наблюдатели политики союзников в Германии, которые имели опасения по поводу денацификации и видели, что система свободного предпринимательства может вести только к возвышению политически нежелательных элементов, возлагали существенные надежды на программу федерализации, в рамках которой Германия была разделена на земли (Länder) с обширными полномочиями местных властей. Она казалась бесспорно правильной во многих отношениях: она будет защитой от чрезмерной концентрации власти и тем самым снимет понятные, даже если и преувеличенные, опасения соседей Германии; она подготовит немецкий народ к ожидаемой федерализации Европы; она научит демократии на низовом уровне в сфере общинного или местного самоуправления, где люди имеют свои непосредственные интересы и, предположительно, хорошо ориентируются, и это может быть противовесом нацистской мегаломании, которая научила немцев мыслить континентами и планировать на века.

Но провал властей Lander является уже почти задокументированным фактом. Это провал в единственной политической сфере, где немцы были предоставлены самим себе почти с начала оккупации и где успех или неудача не зависели от положения Германии на международной арене. Конечно, в некоторой степени вина за провал местных властей может возлагаться на общий климат германской жизни, созданный денацификацией и социальными последствиями безжалостной экономической политики; но это объяснение кажется обоснованным, только если сознательно игнорировать большую степень свободы, которая была дана немцам в управлении Lander. Истина в том, что централизация, осуществленная национальными государствами, в том виде как она была осуществлена в Германии не Гитлером, но Бисмарком, преуспела в разрушении всех подлинных стремлений к местной автономии и подрыве политической жизнеспособности всех провинциальных или муниципальных органов. То, что остается от этих традиций, приобрело безнадежно реакционный характер и было выхолощено до степени самого дешевого фольклора. Местное самоуправление в большинстве случаев высвободило самые порочные местные конфликты, создавая повсюду хаос, поскольку отсутствует власть, достаточно сильная для того, чтобы держать в благоговейном страхе конфликтующие группировки. При явном отсутствии элемента общественной ответственности и даже национального интереса, местный политический процесс имеет тенденцию быстро деградировать в наихудшую возможную форму откровенной коррупции. Сомнительное политическое прошлое большинства имеющих опыт (а «не имеющие опыта» элементы к настоящему времени довольно безжалостно устранены) и низкие зарплаты государственных служащих открывают дорогу всем видам злоупотреблений: многих официальных лиц можно легко шантажировать и многим очень трудно устоять перед искушением увеличить доходы, беря взятки.

Правительство в Бонне имеет слабые прямые связи с правительствами Lander: оно не контролируется ими и не осуществляет сколько-нибудь заметного контроля над ними. Единственной функционирующей связью между боннским и земельными правительствами являются партийные машины, осуществляющие верховную власть во всех кадровых и административных вопросах и, в резком контрасте к структуре страны, состоящей из «малых штатов», более централизованы, чем когда-либо и поэтому представляют собой единственную заметную власть.

Это опасная ситуация, но сама по себе она не является наихудшей из возможных. Реальную проблему создают сами партийные машины. Ныне существующие партии являются продолжением догитлеровских партий, то есть тех партий, которые, как обнаружил Гитлер, оказалось удивительно легко уничтожить. Они во многих случаях управляются теми же самыми людьми, и в них господствуют старые идеологии и старые тактики. Однако только тактики некоторым образом сохранили свою жизнеспособность; идеологии сохраняются просто во имя традиции и потому, что немецкой партии обязательно нужно *Weltanschauung*<sup>3</sup>. Нельзя даже сказать, что идеологии сохранились из-за отсутствия чего-то лучшего; ситуация выглядит так, как будто немцы, после своего опыта с нацистской идеологией, стали убеждены, что почти все сойдет. Партийные машины в первую очередь заинтересованы в обеспечении своих членов рабочими местами и поощрениями, и в этом они всемогущи. Это означает, что они имеют тенденцию привлекать самые приспособленческие элементы населения. Будучи далекими от того, чтобы поощрять какого-либо рода инициативу, они боятся молодых людей с новыми идеями. Короче говоря, они возродились в старческой дряхлости. Вследствие этого, немногие имеющиеся проявления интереса к политике и дискуссии проходят в небольших кружках вне партий и общественных институтов. Каждая из этих малых групп, из-за политического вакуума и общего разложения общественной жизни вокруг них, является потенциальным ядром нового

---

<sup>3</sup> Мировоззрение (нем.)

движения; ибо партии не только не смогли получить поддержку германской интеллигенции, они также убедили массы в том, что не представляют их интересы.

Эта меланхолическая история послевоенной Германии не является историей упущенных возможностей. При нашей готовности найти определенного виновника и поддающиеся определению ошибки мы склонны упускать из виду более фундаментальные уроки, которым эта история может нас научить. Когда все сказано, остается двоякий вопрос: что можно разумно ожидать от народа после двенадцати лет тоталитарного правления? Чего можно разумно ожидать от оккупации, перед которой ставят невыполнимую задачу вновь поставить на ноги народ, лишенный всякой опоры?

Но было бы хорошо запомнить и попытаться понять опыт оккупации Германии, ибо скорее всего при нашей жизни мы увидим его повторившимся в гигантских масштабах. К сожалению, освобождение народа от тоталитаризма вряд ли случится всего лишь из-за «краха коммуникаций и централизованной власти [который] вполне может позволить храбрым народам России освободиться от тирании, намного худшей, чем царская», как это сформулировал Черчилль в своей недавней речи на ассамблее Совета Европы. Пример Германии показывает, что помощь извне вряд ли создаст свободные местные силы самопомощи и что тоталитарное правление есть нечто большее, чем просто наихудший вид тирании. Тоталитаризм уничтожает корни.

В политическом плане нынешнее положение Германии больше служит наглядным уроком о последствиях тоталитаризма, чем демонстрацией так называемой германской проблемы. Эта проблема, как и все другие европейские проблемы, может быть решена только в федеративной Европе; но даже такое решение кажется не очень подходящим ввиду неизбежного политического кризиса предстоящих лет. Ни возрожденная, ни невосрожденная Германия не будет играть в ней большую роль. И это осознание итоговой тщетности любой своей политической инициативы в предстоящей борьбе является не самым слабым фактором нежелания немцев взглянуть в лицо реалиям своей разрушенной страны.

## Подходы к «германской проблеме»<sup>4</sup>

### 1

«Германская проблема» в том виде, в каком о ней говорят сегодня, восстала из прошлого, и если сейчас ее преподносят просто как проблему германской агрессии, то это из-за хрупких надежд на реставрацию статус-кво в Европе. Чтобы достичь этого перед лицом гражданской войны, охватившей континент, казалось необходимым сначала «вернуть» понимание войны к тому смыслу, который вкладывался в это слово в XIX в., – то есть конфликта, в котором страны, а не движения, народы, а не правительства терпят поражения и одерживают победы.

Поэтому литература по «германской проблеме» читается по большей части как переработанное издание пропаганды военного времени, которая всего лишь украшала официальную точку зрения надлежащей исторической эрудицией и на самом деле была не хуже и не лучше своего германского аналога. После прекращения боевых действий труды джентльменов-эрудитов с обеих сторон были благополучно преданы забвению. Единственная интересная сторона этой литературы – та готовность, с которой всемирно известные ученые и писатели предлагали свои услуги, – не для того, чтобы спасти свои страны, рискуя собственными жизнями, а для того, чтобы служить своим правительствам с полным пренебрежением к истине. Единственная разница между пропагандистами двух мировых войн заключается в том, что сейчас многие из прежних глашатаев германского шовинизма предоставили свои услуги союзным державам в качестве «экспертов» по Германии, нисколько не утратив при этом своего рвения и угодничества.

Эти эксперты по «германской проблеме», однако, являются единственным наследием прошлой войны. Но в то время, как их приспособляемость, их готовность к услужению, их страх перед интеллектуальной и моральной ответственностью остаются постоянными, их политическая роль изменилась. Во время Первой мировой войны, войны, которая не была идеологической по своему характеру, стратегии политической войны еще не были открыты, ее пропагандисты занимались немногим более чем укреплением боевого духа, пробуждая или выражая национальное чувство народа. Возможно, они потерпели неудачу даже в этом, если судить по вполне общему пренебрежению, с которым к ним относились воюющие стороны; но, помимо этого, они явно были совершенно малозначительны. У них не было никакого права голоса в политическом процессе, и они не были выразителями политического курса соответствующих правительств.

Сегодня, однако, пропаганда как таковая больше не эффективна, особенно если она формулируется в националистической и военной, а не идеологической или политической терминологии. К примеру, бросается в глаза отсутствие ненависти. Поэтому единственный пропагандистский результат возрождения «германской проблемы» негативный: многие, научившиеся пренебрегать рассказами о зверствах в ходе войны, просто отказываются верить в то, что на сей раз является ужасной реальностью, потому что это преподносится в старой форме государственной пропаганды. Разговоры о «вечной Германии» и ее вечных преступлениях служат только тому, чтобы прикрыть нацистскую Германию и ее нынешние преступления занавесом скептицизма. Взять хотя бы один пример, когда в 1939 г. французское правительство вынуло из запасников лозунги Первой мировой войны и жупел германского «национального характера», единственным видимым эффектом стало неверие в ужасы нацистов. Так было и по всей Европе.

---

<sup>4</sup> Опубликовано в: Partisan Review, XII, Winter 1945.

Но хотя пропаганда и утратила в значительной степени свою способность вдохновлять, она приобрела новую политическую функцию. Она стала формой политической войны и используется для подготовки общественного мнения к некоторым политическим шагам. Поэтому когда «германская проблема» описывается при помощи идеи, что источником международного конфликта являются злодеяния Германии (или Японии), это ведет к сокрытию реальных политических проблем. Посредством отождествления фашизма с национальным характером и историей Германии людям внушают ложную веру в то, что разгром Германии равнозначен искоренению фашизма. Так становится возможным закрыть глаза на европейский кризис, который ни в коей мере не преодолен и который сделал возможным завоевание континента Германией (при помощи коллаборационистов и пятых колонн). Поэтому все попытки отождествить Гитлера с историей Германии могут только безосновательно придавать Гитлеру национальную респектабельность и освященность национальной традицией.

Сравниваем ли мы Гитлера с Наполеоном, как это подчас делала английская пропаганда, или же с Бисмарком, в любом случае мы оправдываем Гитлера и позволяем себе вольности с историческими репутациями Наполеона или Бисмарка. Наполеон, при всем что можно сказать о нем, по-прежнему живет в памяти Европы как вождь армий, движимых представлениями, пусть и искаженными, о французской революции. Бисмарк был не хуже не лучше большинства европейских государственных деятелей, разыгрывавших карту силовой политики во имя нации, чьи цели были ясно определены и явным образом ограничены. Несмотря на его попытки расширить границы Германии, Бисмарк не мечтал о полном уничтожении какой-либо из соперничающих наций. Он неохотно согласился на включение Лотарингии в Германскую империю из «стратегических соображений» Мольтке, но он не желал иностранных вкраплений в пределах германских границ и не намеревался править зарубежными народами как подчиненными расами.

То, что верно в отношении политической истории Германии, еще более верно в отношении духовных корней, приписываемых нацизму. Нацизм ничем не обязан западной традиции, германской или негерманской, католической или протестантской, христианской, греческой или римской. Нравятся нам или нет Фома Аквинский или Макиавелли, Лютер, Кант, Гегель или Ницше – список может быть расширен до бесконечности, как показывает даже беглый взгляд на литературу по «германской проблеме», – они не несут ни малейшей ответственности за то, что происходит в лагерях смерти. В плане идеологии нацизм вообще не имеет никакой традиционной основы, и было бы лучше понимать опасность этого радикального отрицания всякой традиции, которое с самого начала было главной чертой нацизма (хотя и не фашизма на его ранних итальянских этапах). В конце концов, именно нацисты были первыми, кто окружил свою совершенную пустоту дымовой завесой ученых интерпретаций. Нацисты долгое время называли «своими» большинство философов, в настоящее время оклеветанных чрезмерно рьяными экспертами по «германской проблеме», причем не потому, что нацисты заботились об ответственности, а просто потому, что они понимали, что нет лучшего укрытия, чем великая песочница истории, и нет лучшего защитника, чем дети в этой песочнице, легко привлекаемые и легко вводимые в заблуждение «эксперты».

Сама чудовищность нацистского режима должна была предостеречь нас о том, что мы имеем дело с чем-то необъяснимым, даже обращаясь к примеру худших времен в человеческой истории. Ибо никогда, ни в древней, ни в средневековой, ни в современной истории уничтожение не становилось хорошо сформулированной программой, а ее исполнение – высокоорганизованным, бюрократизированным и систематизированным процессом. Эффективность нацистской военной машины действительно связана с милитаризмом, а его идеология – с империализмом. Но чтобы подойти к пониманию нацизма, необходимо освободить милитаризм от всех унаследованных им воинских доблестей, а империализм – от всех внутренне присущих ему мечтаний о строительстве империй, вроде «бремени белого человека». Иными

словами, можно легко найти определенные тенденции в современной политической жизни, которые сами по себе ведут в направлении фашизма, и определенные классы, завоевать и обмануть которые легче, чем другие, – но все они должны изменить свои базовые функции в обществе до того, как нацизм сможет реально ими воспользоваться. Еще до окончания войны германская военная каста, несомненно, один из наиболее отвратительных институтов, отягощенный глупым высокомерием и традицией самонадеянности, будет уничтожена нацистами вместе со всеми другими германскими традициями и освященными веками институтами. Германский милитаризм, представленный в немецкой армии, вряд ли имел больше амбиций, чем старая французская армия Третьей республики: германские офицеры хотели быть государством в государстве, и они глупым образом полагали, что нацисты будут служить им лучше, чем Веймарская республика. Когда они обнаружили эту ошибку, то уже были в состоянии распада: одна их часть была ликвидирована, а другая – приспособилась к нацистскому режиму.

Нацисты действительно говорили иногда на языке милитаризма, как говорили они и на языке национализма; но они говорили на языке любого существующего «-изма», не исключая социализма и коммунизма. Это не помешало им ликвидировать социалистов и коммунистов, националистов и милитаристов – все они были опасными партнерами для нацистов. Только эксперты, с их любовью к устному или письменному слову и непониманием политических реалий, приняли эти утверждения нацистов за чистую монету и истолковали их как следствие некоторых германских или европейских традиций. Напротив, нацизм на самом деле является разрушением всех германских и европейских традиций, как хороших, так и плохих.

## 2

Многие предостерегающие знаки оповещали о катастрофе, которая более чем столетие угрожала европейской культуре и была предсказана, хотя и точно не описана в известных словах Маркса об альтернативе между социализмом и варварством. Во время прошлой войны эта катастрофа стала наглядной в форме наиболее жестокой разрушительности, когда-либо испытанной европейскими нациями. С тех пор нигилизм изменил свое значение. Он более не был относительно безобидной идеологией, одной из многих конкурирующих идеологий XIX в.; он более не оставался в тихой сфере всего лишь отрицания, всего лишь скептицизма или всего лишь предчувствия безысходности. Вместо этого он стал основываться на опьянении разрушением как реальным опытом, на поглощенности глупой мечтой о создании пустоты. Этот разрушительный опыт существенно усилился после войны, когда из-за инфляции и безработицы это же поколение оказалось в противоположной ситуации полной беспомощности и пассивности внутри, казалось бы, нормального общества. Когда нацисты апеллировали к знаменитому *Fronterlebnis* (фронтовому опыту), они не только пробуждали память о *Volksgemeinschaft* (народной общности) в окопах, но и еще более сладкие воспоминания о времени крайней активности личности и ее разрушительной мощи.

Ситуация в Германии действительно более, чем где-либо еще, способствовала ломке всех традиций. Это связано с поздним становлением немцев в качестве нации, их несчастной политической историей и отсутствием какого бы то ни было демократического опыта. Это еще более тесно связано с тем фактом, что послевоенная ситуация с ее инфляцией и безработицей, без которых разрушительная сила *Fronterlebnis* могла бы остаться временным явлением, затронула больше людей в Германии и повлияла на них более глубоко, чем где-либо еще.

Но, хотя разрушить европейские традиции и нормы в Германии, возможно, было и легче, все же верно то, что они должны были быть разрушены, так что не какая-либо германская традиция как таковая, но нарушение всех традиций привело к нацизму. Притягательность нацизма для ветеранов прошлой войны показывает почти всеобщее влияние, которым он обладал во всех ветеранских организациях Европы. Ветераны были первыми сторонниками нацистов, и

первые шаги, предпринятые нацистами в сфере международных отношений, часто были рассчитаны на то, чтобы активизировать тех «товарищей по оружию» за рубежом, которые несомненно понимали их язык и были движимы аналогичными эмоциями и аналогичным стремлением к разрушению.

Это единственный ощутимый психологический смысл «германской проблемы». По настоящему беда была не в немецком национальном характере, а скорее в дезинтеграции этого характера или, по крайней мере, в том, что он более не играет никакой роли в политике Германии. Он в той же степени принадлежит прошлому, что и германский милитаризм или национализм. Будет невозможно возродить его, копируя лозунги из старых книг или даже принимая крайние политические меры. Но еще большая беда в том, что человек, который пришел на смену германцу – тот тип, который, чувствуя опасность полного разрушения, решает сам стать разрушительной силой, – существует не в одной только Германии. Ничто, из которого возник нацизм, можно определить в менее мистических категориях, таких как вакуум в результате почти одновременного распада социальных и политических структур Европы. Все европейские движения Сопротивления столь яростно противостоят реставрации именно потому, что они знают, что она воспроизведет тот же вакуум, которого они смертельно боятся, даже прекрасно зная теперь, что по сравнению с фашизмом это «меньшее зло». Своей огромной психологической привлекательностью нацизм был обязан не столько своим ложным обещаниям, сколько откровенному признанию этого вакуума. Его чудовищная ложь заполняла вакуум; она была психологически эффективной, потому что соответствовала некоторому фундаментальному опыту и еще более – некоторым фундаментальным влечениям. Можно сказать, что в некоторой степени фашизм добавил новую разновидность старого искусства лжи – наиболее дьявольскую разновидность, – а именно лгать истину.

Истиной было то, что классовая структура европейского общества больше не могла функционировать; она просто больше не могла работать ни в своей феодальной форме на Востоке, ни в буржуазной форме на Западе. Внутренне присущая ей несправедливость не только становилась с каждым днем все более очевидной, она постоянно лишала миллионы и миллионы людей какого-либо классового статуса вообще (из-за безработицы и иных причин). Истиной было то, что национальное государство, в прошлом служившее главным символом народного суверенитета, больше не представляло народ и было не в состоянии обеспечить его внешнюю и внутреннюю безопасность. Стала ли Европа слишком маленькой для этой формы организации или же европейские народы переросли организацию своих национальных государств, правда была в том, что они более не вели себя как нации и более не могли возбуждаться национальными чувствами. Большинство из них не желало вести национальную войну – даже во имя своей независимости.

На социальную истину краха европейского классового общества нацисты ответили ложью Volksgemeinschaft, основанной на соучастии в преступлении и управляемой гангстерской бюрократией. Деклассированные могли симпатизировать этому ответу. А ответом на истину об упадке национального государства была знаменитая ложь о Новом порядке в Европе, которая сводила народы к расам и подготавливала их уничтожение. Легковерие европейских народов, которые во многих случаях впустили нацистов в свои страны, потому что нацистская ложь ссылалась на некоторые фундаментальные истины, стоила им невероятно дорого. Но они выучили по крайней мере один великий урок: ни одна из старых сил, породивших вихрь вакуума, не страшна так, как эта новая сила, берущая начало в этом вихре, чьей целью является организовать людей согласно закону вихря – каковым является само уничтожение.

### 3

Европейские движения Сопротивления выросли среди тех же народов, которые в 1938 г. приветствовали Мюнхенские соглашения и у которых начало войны не вызвало ничего, кроме ужаса. Эти движения возникли только тогда, когда националисты всех оттенков и проповедники ненависти получили возможность стать коллаборационистами, так что почти неизбежная склонность националистов к фашизму и шовинистов к прислужничеству иностранным завоевателям оказалась Доказана всему населению. (Немногими исключениями были такие старомодные национализм, как де Голль и журналист Анри де Кериллис, но они только подтверждали правило). Эти движения подполья были, иными словами, непосредственным результатом краха, во-первых, национального Государства, на смену которому пришли коллаборационистские правительства и, во-вторых, самого национализма как движущей силы наций. Те, кто поднялись на войну, воевали против фашизма и ничего больше. И это неудивительно; удивительно – именно из-за своего строгого, почти логического следствия – то, что все эти движения сразу нашли позитивный политический лозунг, который ясно указывал на ненациональный, хотя и очень народный характер новой борьбы. Этим лозунгом была просто Европа.

Поэтому «германская проблема», как она преподносится экспертами, естественно, должна была вызвать очень мало интереса в европейском Сопротивлении. Сразу стало понятно, что продолжать и дальше говорить о «германской проблеме» – значит только затемнять вопросы «идеологической войны», а объявлять Германию вне закона – значит делать невозможным решение европейского вопроса. Поэтому участников подполья «германская проблема» заботила лишь в той степени, в какой она является неотъемлемой частью европейской проблемы. Многие благонамеренные корреспонденты, бравшие уроки у экспертов по Германии, были потрясены отсутствием личной ненависти к немцам и наличием, в освобожденных странах, политической ненависти к фашистам, коллаборационистам и им подобным, вне зависимости от их национальности.

Слова, с которыми Жорж Бидо, бывший глава французского Сопротивления, а ныне министр иностранных дел, обратился к раненым немецким солдатам сразу же после освобождения Парижа, звучат как простое и блистательное выражение чувств тех, кто воевал против нацистской Германии не пером, а рискуя жизнью. Он сказал: «Немецкие солдаты, я – глава Сопротивления. Я пришел пожелать вам доброго здоровья. Желаю вам, чтобы вы вскоре оказались в свободной Германии и свободной Европе».

Настойчивое утверждение Европы даже в такой момент весьма характерно. Любые другие слова не соответствовали бы убеждению, что европейский кризис есть в первую очередь кризис национального государства. По словам участников голландского подполья, «мы переживаем в настоящее время... кризис государственного суверенитета. Одной из главных проблем приближающегося мирного времени будет то, как мы можем, сохраняя культурную автономию, достичь формирования больших единиц на политическом и экономическом поле... Хороший мир ныне немыслим без того, чтобы государства передали часть своего экономического и политического суверенитета высшей европейской власти: мы оставляем открытым вопрос о том, будет ли создан Европейский совет, или Федерация, или Соединенные Штаты Европы, или какая-либо еще организационная единица».

Очевидно, что для этих людей, для подлинных *homines novi*<sup>5</sup> Европы, «германская проблема» не является, как для де Голля, «центром вселенной», и даже центром Европы. Их главный враг фашизм, а не Германия; их главная проблема – кризис всех государственных орга-

<sup>5</sup> «Новые люди»: в Древнем Риме это понятие означало семью или клан, никогда ранее не занимавшие курульных должностей.



низаций континента, а не только германского или прусского государства; их центр тяжести – Франция, страна, которая действительно являлась, в культурном и политическом отношении, сердцем Европы на протяжении веков и чей недавний вклад в политическую мысль вновь ставит ее во главе Европы в духовном плане. В этой связи более чем важно то, что освобождение Парижа было отпраздновано в Риме даже с большим энтузиазмом, чем свое собственное освобождение; и что послание голландского Сопротивления Французским внутренним силам завершалось словами «пока жива Франция, Европа не умрет».

Для тех, кто хорошо знал Европу в период между двумя войнами, это должно было быть почти шоком – видеть, как быстро те же самые народы, что всего лишь несколько лет назад совершенно не были озабочены проблемами политической структуры, сейчас обнаружили главные условия для будущего континентальной Европы. Под гнетом нацизма они не только вновь уяснили смысл свободы, но и вернули себе самоуважение, а также обрели новое стремление к ответственности. Это достаточно ясно проявилось во всех бывших монархиях, где, к удивлению и ужасу некоторых наблюдателей, люди хотят прежде всего республиканского режима. Во Франции, стране со зрелыми республиканскими традициями, набирает силу отказ от старых централизованных форм власти, оставлявших очень мало ответственности каждому отдельному гражданину; поиск новых форм, дающих гражданину больше обязанностей, а также прав и почестей общественной жизни, характерен для всех группировок.

Основным принципом французского сопротивления было *liberer et federer*<sup>6</sup> и под федерацией имелось в виду федеративное строение Четвертой республики (в противоположность «централистскому государству, которое неизбежно становится тоталитарным»). В почти идентичных выражениях газеты французского, чешского, итальянского, норвежского и голландского подполья настаивают на этом как главном условии прочного мира, – хотя, насколько мне известно, только французское подполье пошло так далеко, чтобы заявить, что федеративная структура Европы должна основываться на аналогичных федеративных структурах составляющих ее государств. Столь же всеобщими, хотя и не в равной степени новыми, являются требования социального и экономического планов. Все хотят изменения экономической системы, контроля над богатством, национализации и общественной собственности на основные ресурсы и главные отрасли промышленности. И опять же французы здесь имеют несколько собственных идей. Как сказал Луи Сайян, они не хотят «перепевов социалистической или какой-либо еще программы», ибо их беспокоит прежде всего «защита того человеческого достоинства, за которое сражались и шли на жертвы участники Сопротивления». Они хотят предотвратить опасность *etatismes envahissant*<sup>7</sup>, предоставив рабочим и техническому персоналу каждой фабрики долю в результатах производства, а потребителям – решающий голос в управлении им.

Необходимо было обрисовать хотя бы эти общие программные рамки, поскольку лишь в таком плане имеет смысл ответ на «германскую проблему». Здесь бросается в глаза отсутствие ванситтартизма<sup>8</sup> любого рода. Французский офицер, один из тех, кто с помощью германского подполья каждый день организует побеги из нацистских концлагерей, в этом отношении проводит различие между заключенными и народом своей страны, который ненавидит немцев больше, чем заключенные. «Наша ненависть, страстная ненависть заключенных, направлена на коллаборационистов, спекулянтов и им подобных, на всех, кто помогает врагу – и нас три миллиона...».

---

<sup>6</sup> Освободить и создать федерацию (*фр.*)

<sup>7</sup> Всепроникающий этатизм (*фр.*)

<sup>8</sup> Ванситтартизм – доктрина английского дипломата Роберта Ванситтарта (1881–1957), считавшего, что агрессивная и милитаристская политика Германии имела поддержку всего немецкого народа, отрицавшая возможность решения германского вопроса на демократической основе и требовавшая длительной англосаксонской оккупации и опеки над Германией. Термин нередко употребляется в значении «германофобия».

Польская социалистическая газета Freedom предостерегает от жажды мести, потому что она «легко может превратиться в желание господствовать над другими нациями и тем самым, после победы над нацизмом, сами его методы и идеи могут вновь восторжествовать». Очень похожие заявления делались и движениями во всех остальных странах. Этот страх впасть в некоторую разновидность расизма после разгрома его германской версии стоит за общим отказом от идеи расчленения Германии. В этом, как и во многих других вопросах, между движениями подполья и правительствами в изгнании отсутствует всякое согласие. Так, де Голль требовал аннексии Рейнской области, но сменил свой подход на противоположный несколько недель спустя, когда, вступив в Париж после его освобождения, заявил, что все, чего хочет Франция, это активного участия в оккупации Рейнской области.

Однако голландцы, поляки, норвежцы и французы все как один поддерживают программу национализации германской тяжелой промышленности, ликвидации юнкеров и промышленников как общественных классов, полного разоружения и контроля над промышленным производством. Некоторые ожидают создания германской федеративной администрации. Французская Социалистическая партия провозгласила, что эта программа «должна быть реализована на основе тесного, братского сотрудничества с германскими демократами»; и все программы завершаются предостережениями, что обречь «семьдесят миллионов человек в центре Европы на бедственное экономическое положение» (норвежцы) значит извратить конечную цель «принятия Германии в сообщество европейских наций и плановую европейскую экономику» (голландцы).

Мыслить так, как европейское подполье, означает понимать, что активно обсуждаемые альтернативы мягкого или жесткого мира для Германии имеют мало отношения к проблеме ее будущего суверенитета. Так, голландцы заявляют, что «проблема равенства прав должна заключаться не в восстановлении суверенных прав побежденного государства, но в предоставлении ему ограниченного влияния в Европейском совете или Федерации». Французы, составляя планы на тот период, когда неевропейские оккупационные армии покинут континент, и снова на первый план выйдут чисто европейские проблемы, предупреждают, что «существенные ограничения германского суверенитета можно легко представить лишь в том случае, если все государства подобным же образом согласятся пойти на значительное ограничение своего суверенитета».

Задолго до того, как стало известно о «плане Моргентау», подпольные движения уже отвергали подобные идеи уничтожения германской промышленности. Это неприятие столь всеобщее, что было бы избыточным цитировать конкретные источники. Причины очевидны: огромный и полностью обоснованный страх, что половина Европы будет голодать, если германская промышленность прекратит работу.

Вместо уничтожения этой промышленности предлагается контроль над ней, не столько со стороны какой-то конкретной страны или народа, сколько со стороны Европейского консультативного совета, который, вместе с представителями Германии, принял бы на себя ответственность за управление ею с целью стимулирования производства и управления распределением. Среди экономических планов европейского использования германской индустрии наиболее замечательна французская программа, которая предварительно обсуждалась еще до освобождения. Эта программа призывает к объединению в одну экономическую систему, без изменения национальных границ, промышленных регионов западной Германии – Рура, Саара, Рейнской области и Вестфалии с индустриальными регионами восточной Франции и Бельгии.

Но эта готовность прийти к соглашению относительно будущего Германии не должна объясняться исключительно подсчетами показателей экономического благополучия или даже естественным ощущением того, что, что бы ни решили союзные державы, немцы останутся в Европе навсегда. Также необходимо принимать во внимание то, что европейское Сопротивление во многих случаях сражалось плечом к плечу с германскими антифашистами и дезер-

тирами из рейхсвера. Сопротивление знает о существовании германского подполья, ибо миллионы иностранных рабочих и военнопленных Третьего рейха имели широкие возможности воспользоваться его помощью. Французский офицер, рассказывая о том, как французские заключенные в Германии устанавливали связи с французами, угнанными на подневольные работы, и с подпольем в самой Франции, говорит о германском подполье как о чем-то очевидном, подчеркивая, что такие контакты были бы невозможны «без активной помощи немецких солдат и рабочих». Он также говорит, что оставил «много хороших друзей в Германии перед тем, как мы перерезали колючую проволоку». Еще более поразительно обнаружение им того, что германское подполье рассчитывает на помощь французов в Германии «в момент окончательного удара», и того, что организованное сотрудничество между двумя группами привело к информированию французов о местах складирования оружия немецкого подполья.

Эти детали цитируются для того, чтобы разъяснить, какой реальный опыт лежит в основе программ Сопротивления в отношении Германии. Этот опыт, в свою очередь, сделал более обоснованным то отношение, что на протяжении уже нескольких лет характерно для европейских антифашистов и которое недавно было определено Жоржем Бернаносом как: «Надежда людей, рассеянных по всей Европе, разделенных границами и языками и имеющих мало общего друг с другом кроме опыта риска и привычки не поддаваться угрозе».

#### 4

Возвращение правительств в изгнании может быстро положить конец этому новому чувству европейской солидарности, ибо само существование этих правительств зависит от восстановления статус-кво. Отсюда их застарелое стремление к ослаблению и дроблению движения Сопротивления, чтобы не допустить политического ренессанса европейских народов.

Реставрация в Европе сегодня предстает в виде трех базовых концепций. Во-первых, это возникшая там концепция коллективной безопасности, которая на самом деле не является новой, но заимствована у счастливых времен Священного союза; она была возрождена после предыдущей войны в надежде на то, что позволит сдержать националистические устремления и агрессию. Если эта система рассыпалась на части, то это произошло не из-за такой агрессии, а из-за вмешательства идеологических факторов. Так, к примеру, Польша, хотя и оказалась под угрозой со стороны Германии, отвергла помощь Красной армии, несмотря на то что в ее случае коллективная безопасность вряд ли могла быть действенной без такой помощи. Стратегической безопасностью границ пожертвовали потому, что главный агрессор – Германия – была воплощением борьбы против большевизма. Ясно, что система коллективной безопасности может быть восстановлена только на основе исходного допущения о том, что препятствующих этому идеологических факторов больше нет. Однако такие допущения иллюзорны.

Для того чтобы предотвратить столкновения между идеологическими силами, имеющимися во всех нациях, была введена вторая политическая мера – четкое разграничение сфер интересов. Эта политика унаследована от колониальных империалистических методов, которые сейчас бьют рикошетом по Европе. Однако вряд ли кто-то преуспеет в обращении с европейцами как с населением колоний, когда даже колониальные страны явно находятся на пути к независимости. Еще менее реалистична надежда на то, что на столь малой и густонаселенной территории, как Европа, окажется возможным возведение стен, которые отделят нацию от нации и предотвратят взаимодействие идеологических сил.

В настоящее время мы видим воскрешение старого доброго двустороннего союза, который, как кажется, становится излюбленным политическим инструментом Кремля. Этот последний элемент, заимствованный из обширного арсенала силовой политики, имеет только один смысл, и это повторное использование политических инструментов девятнадцатого века, чья неэффективность была обнаружена и обличена после окончания последней войны. В

действительности окончательным итогом таких двусторонних соглашений становится то, что более сильный партнер в любом так называемом союзе господствует над более слабым политически и идеологически. Правительства в изгнании, заинтересованные только в реставрации как таковой, жалким образом колеблются между этими альтернативами и готовы принять почти все, что предлагают члены Большой тройки – коллективную безопасность, сферу интересов или союз. Следует признать, что в числе этих лидеров де Голль занимает особое место. В отличие от других, он представляет не вчерашние силы, а, скорее, является единственным напоминанием о силах позавчерашних – того времени, которое, при всех его недостатках, было намного более благоприятным для реализации человеческих целей, чем недавнее прошлое. Иными словами, он один по-настоящему представляет патриотизм и национализм в старом смысле. Когда его бывшие товарищи во французской армии и «Аксьон Франсез» оказались предателями, пацифизм охватил Францию подобно лихорадке, а представители правящих классов изо всех сил старались стать коллаборационистами, он даже не понял, что происходит. В некотором смысле, ему повезло, что он не мог поверить своим глазам, – то есть поверить в то, что французы не хотят национальной войны с Германией. Все, что он сделал после этого, он сделал во имя нации, и его патриотизм так глубоко коренится в воле народа, что Сопротивление, то есть народ, смог поддержать его политику и повлиять на нее. Де Голль, единственный оставшийся в Европе национальный политик, также единственный, кто искренне утверждает, что «германская проблема – это центр всего». Для него война на самом деле является национальным, а не идеологическим конфликтом. И он хочет для Франции как можно большую долю в победе над Германией. Его стремление к аннексии сдерживается Сопротивлением; новое предложение, предположительно принятое Сталиным, которое предусматривает создание отдельного немецкого государства в Рейнской области под контролем союзников или Франции, говорит о компромиссе между его прежними аннексионистскими планами и надеждами Сопротивления на федеративную Германию и контролируруемую Европой германскую экономику.

Реставрация очень логично началась с возвращения к бесконечным спорам о границах, спорам, в которых жизненно заинтересованы лишь немногие старорежимные националисты. Несмотря на мощные протесты движений подполья своих стран, все правительства в изгнании выдвинули территориальные претензии. Эти претензии, поддерживаемые и, возможно, вдохновляемые Лондоном, могут быть удовлетворены только за счет побежденных, и если в перспективе приобретения новых территорий немного радости, то это потому, что, по-видимому, никто не знает, как решить неразрывно связанные с этим проблемы населения этих территорий. Договоры о меньшинствах, от которых ожидали чудес после предыдущей войны, сегодня находятся в полном пренебрежении, хотя никто не верит и в единственную альтернативу, какой является ассимиляция. Сегодня надеются решить эту проблему путем перемещения населения: чехи были первыми, кто объявил о своей решимости ликвидировать договоры о меньшинствах и депортировать два миллиона немцев в Рейх. Другие правительства в изгнании последовали этому примеру и изложили аналогичные планы для немцев, находящихся на уступаемых другим странам территориях— многих миллионов немцев.

Но если такие перемещения населения будут действительно иметь место, за ними последует не только продолжение хаоса на неопределенное время, но, возможно, и нечто еще более зловещее. Уступленные территории окажутся малонаселенными, а соседи Германии не смогут должным образом заселить их и использовать с выгодой имеющиеся ресурсы. Это в свою очередь поведет либо к реэмиграции немецкой рабочей силы и тем самым к воспроизводству старых опасностей, либо к ситуации, когда перенаселенная страна с высококвалифицированной рабочей силой и высокоразвитой техникой просто будет вынуждена искать новые методы производства. Результат такого «наказания» окажется тем же, что и у Версальского договора, о котором также думали, что это надежный инструмент сокрушения германской экономической

мощи, но который сам оказался причиной крайней рационализации и поразительного роста германского промышленного потенциала. Поскольку в наше время рабочая сила намного важнее, чем территории, а технические умения в сочетании с высоким уровнем научных исследований способны принести больше, чем сырье, мы вполне можем своими руками начать создавать гигантскую пороховую бочку в центре Европы, взрывоопасный потенциал которой удивит завтрашних политиков так же, как подъем побежденной Германии удивил политиков вчерашних.

И наконец, план Morgenthau, по-видимому, представляет окончательное решение. Но вряд ли можно полагаться на то, что этот план превратит Германию в нацию мелких фермеров – поскольку ни одна держава не возьмется за то, чтобы уничтожить около тридцати миллионов немцев. Любая серьезная попытка сделать это, вероятнее всего, породит ту самую «революционную ситуацию», которую желающие реставрации боятся более всего.

Таким образом, реставрация не обещает ничего. Если она окажется успешной, процессы последних тридцати лет могут начаться снова, на этот раз с намного большей скоростью. Ибо реставрация должна начаться именно с реставрации «германской проблемы»! Порочный круг, в котором вращаются все дискуссии о «германской проблеме», ясно показывает утопический характер «реализма» и силовой политики в их применении к реальным вопросам нашего времени. Единственной альтернативой этим устаревшим методам, которые не могут даже сохранить мир, не говоря уже о том, чтобы гарантировать свободу, является курс, принятый европейским Сопротивлением.

## Организованная вина и всеобщая ответственность<sup>9</sup>

### I

Чем серьезнее военные поражения вермахта на полях сражений, тем более очевидной становится победа нацистов в политической борьбе, которую так часто ошибочно считают простой пропагандой. Главный тезис нацистской политической стратегии состоит в том, что нет никакой разницы между нацистами и немцами, что народ един в своей поддержке правительства, что все надежды союзников найти часть народа, не зараженную идеологически, как и все призывы к демократической Германии будущего, являются чистыми иллюзиями. Из этого следует, конечно, то, что нет никакого различия в вопросе ответственности, что немецкие антифашисты пострадают от поражения не меньше, чем немецкие фашисты, и что союзники проводили такие различия в начале войны только в пропагандистских целях. Еще одно следствие состоит в том, что постановления союзников относительно наказания военных преступников окажутся пустыми угрозами, потому что не удастся найти никого, к кому нельзя было бы применить определение военного преступника.

То, что такие заявления не являются простой пропагандой, а подтверждаются вполне реальными и страшными фактами, мы узнали за последние семь лет. Террористические подразделения, которые сначала были строго отделены от массы народа и принимали только лиц с уголовным прошлым или доказавших свою готовность стать преступниками, с тех пор постоянно росли. Запрет на членство в партии военных был аннулирован общим приказом, подчинившим всех солдат партии. Хотя эти преступления, которые с момента установления нацистского режима всегда были частью повседневной рутины концентрационных лагерей, поначалу были ревностно оберегаемой монополией СС и гестапо, сегодня обязанности по исполнению массовых убийств могут быть возложены на военных. Эти преступления сначала держались в секрете всеми возможными способами, и любая их огласка наказывалась как злостная пропаганда. Позднее, однако, сведения об этих преступлениях стали распространяться через слухи, причем по инициативе самих нацистов, а сегодня о них говорят открыто, называя «мерами ликвидации», которые призваны заставить «соотечественников» – тех, что из-за организационных трудностей не удалось включить в «народное единство» преступления, – по крайней мере нести бремя соучастия и знания о происходящем. Эта тактика, поскольку союзники отказались проводить различие между немцами и нацистами, привела к победе нацистов. Чтобы оценить решающее изменение политических условий в Германии после проигранной битвы за Британию, необходимо отметить, что до войны и даже до первых военных поражений лишь относительно небольшие группы активных нацистов, но не те, кто им сочувствовал, и столь же небольшое число активных антифашистов действительно знали о происходящем. Все остальные, не важно немцы или нет, естественным образом были склонны верить официальному, всеми признанному правительству, а не обвинениям беженцев, которые, будучи евреями или социалистами, в любом случае вызывали подозрения. Но даже из тех беженцев лишь относительно небольшая доля знала всю правду, и еще меньшая часть готова была нести бремя непопулярности, рассказывая правду.

Пока нацисты ожидали, что они одержат победу, их террористические подразделения были строго отделены от народа, а во время войны – от армии. Армия не использовалась для совершения злодеяний, и войска СС набирались из «подготовленных» людей независимо от их национальности. Если бы в Европе удалось установить задуманный новый порядок, мы

---

<sup>9</sup> Опубликовано в: Hannah Arendt, «German Guilt», Jewish Frontier, No. 12, 1945.

стали бы свидетелями межъевропейской организации террора под немецким руководством. Террор осуществлялся бы представителями всех европейских национальностей, за исключением евреев, но был бы организован в соответствии с расовой классификацией различных стран. Немецкий народ, конечно, от него не был бы избавлен. Гиммлер всегда считал, что власть в Европе должна находиться в руках расовой элиты, собранной в войсках СС, и не иметь национальных связей.

Лишь поражения вынудили нацистов отказаться от этой идеи и для вида вернуться к старым националистическим лозунгам. Частью этого поворота было активное отождествление всего немецкого народа с нацистами. Шансы национал-социализма на организацию подпольного движения в будущем зависят от того, что никто больше не будет способен узнать, кто нацист, а кто нет, так как не будет больше никаких видимых признаков различия, и, прежде всего, от убежденности держав-победительниц, что между немцами на самом деле нет никакого различия. Чтобы это произошло, необходим усиленный террор, после которого в живых не останется ни одного человека, чье прошлое или репутация позволили бы назвать его антифашистом. В первые годы войны режим был удивительно «великодушным» к своим оппонентам, при условии, что они сидели спокойно. Но в последнее время было казнено бесчисленное множество людей, даже несмотря на то, что из-за отсутствия на протяжении многих лет всякой свободы передвижения они не могли представлять какую-то прямую угрозу для режима. С другой стороны, мудро предвидя, что, несмотря на все меры предосторожности, союзники все еще могут найти в каждом городе несколько сотен людей с безупречным антифашистским прошлым – на основании свидетельств бывших военнопленных и иностранных рабочих, а также сведений о тюремном заключении или пребывании в концлагерях, – нацисты уже обеспечили своих людей соответствующими документами и свидетельствами, что делает эти критерии бесполезными. Таким образом, в случае заключенных концентрационных лагерей (численность которых никто точно не знает, но, по оценкам, она составляет несколько миллионов человек), нацисты могут спокойно их ликвидировать или отпустить: в том невероятном случае, если они все же выживут (резня, вроде той, что произошла в Бухенвальде, не является наказуемой в соответствии с определением военного преступления), их все равно невозможно будет безошибочно опознать.

Определить, кто в Германии нацист, а кто анти-нацист, может лишь тот, кто знает секреты человеческого сердца, куда человеческому взгляду не проникнуть. В любом случае те, кто сегодня активно организует антифашистское подполье в Германии, встретят вскоре свою кончину, если они не смогут действовать и говорить точь-в-точь как нацисты. В стране, где человек, не сумевший убить по приказу или не готов стать пособником убийц, сразу же привлекает к себе внимание, это не простая задача. Самый радикальный лозунг, который появился у союзников во время этой войны («хороший немец – мертвый немец»), имеет прочную основу в реальности: единственный способ определить противника нацистов это увидеть, когда нацисты повесят его. Никакого другого надежного признака не существует.

## II

Таковы реальные политические условия, которые лежат в основе утверждения о коллективной вине немецкого народа. Они являются следствием политики, которая в самом глубоком смысле а- и антинациональна; которая совершенно определена в том, что немецкий народ существует, только когда он находится во власти своих нынешних правителей; и которая посчитает своей величайшей победой, если поражение нацистов приведет к физическому уничтожению немецкого народа. Тоталитарная политика, которая полностью разрушила нейтральную территорию, где обычно протекает повседневная жизнь людей, добилась того, что существование каждого человека в Германии зависит от того, что он либо совершает преступления, либо

соучаствует в них. Успех нацистской пропаганды в союзнических странах, выражающийся в том, что обычно называют ванситтаризмом, имеет второстепенное значение. Он представляет продукт обычной военной пропаганды и нечто, совершенно не связанное со специфическим современным политическим феноменом, описанным выше. Все документы и псевдоисторические свидетельства этой тенденции звучат как относительно невинный плагиат французской литературы времен предыдущей войны – и совсем не важно, что некоторые из этих авторов, забивших двадцать пять лет назад все печатные станки своими атаками на «вероломный Альбион», теперь предоставили свой опыт в распоряжение союзников.

Тем не менее даже дискуссии, которые велись с самыми лучшими намерениями между защитниками «хороших» немцев и обвинителями «плохих», не только упускают суть вопроса, но также явно не осознают масштабы катастрофы. Они либо скатываются к тривиальным общим замечаниям о хороших и плохих людях и к фантастической переоценке силы «воспитания», либо просто принимают перевернутую версию нацистской расовой теории. Во всем этом есть определенная опасность, потому что после знаменитого заявления Черчилля<sup>10</sup> союзники отказались от участия в идеологической войне и тем самым невольно дали преимущество нацистам, которые, без оглядки на Черчилля, организуют их поражение идеологически, и сделали вероятным сохранение всех расовых теорий.

Истинная проблема, однако, не в том, чтобы доказывать самоочевидное, то есть что немцы не были потенциальными нацистами со времен Тацита, или невозможное, то есть что все немцы глубоко внутри придерживаются нацистских взглядов, а в том, чтобы задуматься, как вести себя и как поступать с народом, в котором границы, отделяющие преступников от нормальных людей, виновных от невиновных, стерты настолько, что никто в Германии не сможет сказать, с кем он имеет дело – с тайным героем или с бывшим массовым убийцей. В этой ситуации нам не поможет ни определение ответственных, ни наказание «военных преступников». Такие определения, по самой своей природе, могут применяться только к тем, кто не только взял на себя ответственность, но и создал весь этот ад – и все же странным образом их имена до сих пор отсутствуют в списках военных преступников. Число же тех, кто несет ответственность и вину, будет относительно небольшим. Есть немало тех, кто разделяет ответственность без каких-либо видимых доказательств вины, и еще больше тех, кто оказался виновен, не будучи ни в малейшей степени ответственным. К ответственным в более широком смысле следует отнести всех тех, кто продолжал симпатизировать Гитлеру, пока это было возможно, кто способствовал его приходу к власти и кто приветствовал его и в Германии, и в других европейских странах. Кто посмеет клеймить всех этих Дам и господ из высшего общества как военных преступников? Они и правда не заслуживают такого определения. Бесспорно, они доказали свою неспособность судить о современных политических организациях – одни потому, что считали все принципы в политике нравоучительным вздором, другие потому, что испытывали романтическое пристрастие к бандитам, которых они перепутали с «пиратами» прошлых времен. Тем не менее эти люди, которые были ответственны за преступления Гитлера в более широком смысле, не несут никакой вины в строгом смысле этого слова. Эти первые сообщники нацистов и их лучшие пособники действительно не ведали, что творят и с кем имеют дело.

Необычайный ужас, возникающий у людей доброй воли всякий раз, когда речь заходит о Германии, вызывают не эти безответственные пособники и даже не конкретные преступления самих нацистов. Скорее, его вызывает вид этой огромной машины административного массового убийства, которую обслуживали не тысячи и даже не десятки тысяч отдельных убийц, а весь народ: в той организации, которую Гиммлер подготовил на случай поражения, каждый является либо палачом, либо жертвой, либо автоматом, продолжающим идти вперед по трупам своих товарищей, – которых раньше отбирали из различных отрядов штурмовиков, а позд-

<sup>10</sup> В своем выступлении перед палатой общин 24 мая 1944 г



нее из любого армейского формирования или другой массовой организации. По-настоящему ужасно то, что каждый – независимо от того, связан он с лагерями смерти напрямую или нет, – вынужден принимать участие тем или иным образом в работе этой машины массового убийства. Ведь систематическое массовое убийство – истинное следствие всех расовых теорий и других современных идеологий, которые проповедуют право сильного, – не только невообразимо, но и выходит за рамки и категории нашего политического мышления и действия. Каким бы ни было будущее Германии, оно не будет определяться ничем,

Кроме неизбежных последствий проигранной войны-последствий, которые по своей природе носят временный характер. Не существует никакого политического ответа на немецкие массовые преступления, а уничтожение семидесяти или восьмидесяти миллионов немцев или даже их постепенная смерть от голода (о которой, конечно же, никто, кроме нескольких психотических фанатиков не мечтает) означали бы просто победу нацистской идеологии, даже если власть и право сильного перешли к другим людям.

Подобно тому как человек неспособен найти политическое решение для преступления административного массового убийства, так человеческая потребность в справедливости не может найти удовлетворительного ответа на тотальную мобилизацию людей с этой целью. Когда виноваты все, никого в конечном счете невозможно осудить<sup>11</sup>. Ибо эта вина не сопровождается даже простой видимостью ответственности, даже простым притворством. Пока наказание составляет удел преступника – и эта парадигма более двух тысяч лет была основой чувства справедливости и правосознания западного человека, – вина предполагает осознание вины, а наказание служит свидетельством того, что преступник ответственный человек. Как обстоят дела с этим, хорошо было описано американским корреспондентом<sup>12</sup> в истории, достойной пера великого поэта.

Вопрос: Вы убивали людей в лагере? Ответ: Да.

Вопрос: Вы травили их газом? Ответ: Да.

Вопрос: Вы хоронили их заживо? Ответ: Бывало и такое.

Вопрос: Жертвы поступали со всей Европы? Ответ: Думаю, да.

Вопрос: Вы лично помогали убивать людей? Ответ: Нет, конечно. Я был всего лишь кассиром в лагере.

Вопрос: Что вы думали о происходившем? Ответ: Сначала было неприятно, но мы привыкли к этому.

Вопрос: Вы знаете, что русские вас повесят? Ответ (в слезах): За что? Что я сделал?

Действительно, он ничего не сделал. Он только выполнял приказы, а с каких пор выполнение приказов стало преступлением? С каких пор бунт стал именоваться добродетелью? С каких пор достойным может быть только тот, кто идет на верную смерть? Что же он сделал?

В пьесе Карла Крауса «Последние дни человечества», посвященной предыдущей войне, занавес падает, когда Вильгельм II восклицает: «Я этого не хотел!» И весь ужас, и комичность ситуации заключаются в том, что так это и было. Когда занавес упадет на этот раз, мы услышим целый хор голосов, кричащих: «Мы этого не делали!» И хотя мы больше не сможем оценить комическую составляющую, ужас ситуации по-прежнему будет заключаться в том, что так это и есть.

---

<sup>11</sup> То, что беженцы из Германии, которым посчастливилось либо быть евреями, либо достаточно рано подвергнуться преследованиям гестапо, были избавлены от этой вины, не их заслуга. Поскольку они это знают и поскольку они до сих пор приходят в ужас от того, что могло с ними случиться, они зачастую приносят в дискуссии невыносимый тон уверенности в своей правоте, который нередко, в особенности среди евреев, может оказываться – и на самом деле уже оказался – вульгарной изнанкой нацистских доктрин.

<sup>12</sup> Рэймонд Дэвис, корреспондент Jewish Telegraph Agency и радиожурналист Canadian Broadcasting Corporation, стал первым очевидцем, описавшим лагерь смерти в Майданеке.

### III

В попытке понять, какими были истинные мотивы, заставившие людей действовать подобно винтикам в машине массового убийства, мы не будем обращаться к спекуляциям о немецкой истории и так называемом немецком национальном характере, о возможностях которого лучшие знатоки Германии пятнадцать лет тому назад даже не подозревали. Гораздо больше можно узнать, рассмотрев своеобразную личность человека, который может похвастаться тем, что он был организатором и вдохновителем убийств. Генрих Гиммлер не относится к тем интеллектуалам, которые происходят из сумеречной зоны между богемой и мальчишками на побегушках, значение которых в составе нацистской элиты неоднократно подчеркивалось в последнее время. Он не является ни представителем богемы, как Геббельс, ни сексуальным преступником, как Штрейхер, ни извращенным фанатиком, как Гитлер, ни даже авантюристом, как Геринг. Он – «буржуа» со всеми внешними признаками респектабельности, всеми привычками хорошего отца семейства, который не изменяет своей жене и тревожно стремится обеспечить достойное будущее для своих детей; и он сознательно построил свою новую террористическую организацию, охватывающую всю страну, на допущении, что большинство людей не богема, не фанатики, не авантюристы, не сексуальные маньяки и садисты, а, прежде всего, трудяги и добропорядочные отцы семейств.

Кажется, Пеги назвал семьянина «великим авантюристом XX века». Он умер слишком рано и не узнал, что был еще и великим преступником века. Мы настолько привыкли восхищаться или по-доброму смеяться над искренней озабоченностью отца семейства и его торжественной решимостью облегчить жизнь своей жены и детей, что даже не заметили, как преданный отец семейства, больше всего обеспокоенный своей безопасностью, под давлением экономического хаоса нашего времени превратился в невольного авантюриста, который, несмотря на все свои старания и заботу, никогда не мог быть уверен в завтрашнем дне. Покорность этого типа проявилась уже в самом начале нацистского правления. Стало ясно, что ради своей пенсии, ради страхования жизни, ради безопасности своей жены и детей такой человек был готов принести в жертву свои убеждения, честь и человеческое достоинство. Нужен был лишь сатанинский гений Гиммлера, чтобы понять, что после такой деградации он был готов буквально на все, если повысит ставки и поставит под угрозу само существование его семьи. Единственное условие, которое поставил этот человек, заключалось в том, чтобы его полностью освободили от ответственности за его действия. Таким образом, тот самый человек, рядовой немец, которого нацисты, несмотря на годы самой яростной пропаганды не смогли убедить убить еврея (даже когда они ясно дали понять, что такие убийства останутся безнаказанными), в настоящее время обслуживает машину истребления, не высказывая никаких возражений. В отличие от более ранних подразделений СС и гестапо, всеобъемлющая организация Гиммлера опирается не на фанатиков, не на прирожденных убийц, не на садистов; она полностью полагается на нормальность работяг и отцов семейств.

Нам не нужно специально упоминать печальные вести о латышах, литовцах или даже евреях, которые принимали участие в гиммлеровской организации убийств, чтобы показать, что для наличия этого нового типа функционера не требуется никакого особого национального характера. Все они даже не прирожденные убийцы или извращенные предатели. И даже неясно, стали бы они это делать, если бы на кону не стояли их собственные жизни и будущее. Поскольку им больше не нужно было бояться Бога, а бюрократическая организация их действий очистила их совесть, они ощущали ответственность только перед своими семьями. Превращение семьянина из ответственного члена общества, интересующегося делами общества, в «буржуа», озабоченного только своим личным существованием и не имеющего представления о гражданской добродетели, сегодня международное явление. Трудности нашего времени

– «Bedenkt den Hunger und die grosse Kalte in diesem Tale, das von Jammer schallt» (Брехт<sup>13</sup>) – в любой момент могут превратить его в человека толпы и сделать его орудием безумия и ужаса. Каждый раз, когда общество через безработицу лишает маленького человека его нормальной жизни и нормального самоуважения, оно готовит его к этой последней стадии, когда он готов взять на себя любую функцию, даже палача. Один выпущенный из Бухенвальда еврей обнаружил среди эсэсовцев, которые дали ему бумаги об освобождении, своего бывшего одноклассника, к которому он не обращался, но все же пристально смотрел. Вдруг тот, на кого он смотрел, сказал: «Ты должен понять – я уже пять лет как безработный. Они могут делать со мной все что угодно».

Этот современный тип человека, который полностью противоположен «citoyen» и которого, за неимением лучшего названия, мы называли «буржуа», действительно смог развиваться наиболее полно в особенно благоприятных немецких условиях. Трудно найти другую страну западной культуры, столь мало пронизанную классическими добродетелями гражданского поведения. Ни в одной другой стране частная жизнь и частные расчеты не играют столь значительную роль. Во времена национальных бедствий немцы успешно скрывали этот факт, но им никогда не удавалось его изменить. За фасадом провозглашенных и пропагандируемых национальных добродетелей, таких как «любовь к Отечеству», «немецкая отвага», «немецкая верность» и т. д., таились соответствующие реальные национальные пороки. Едва ли есть другая страна, где в среднем так мало патриотизма как в Германии; и за шовинистическими заявлениями о верности и отваге скрыта фатальная тенденция к неверности и предательству по оппортунистическим причинам.

Однако человек толпы, этот конечный результат «буржуа», представляет собой международное явление; и лучше не подвергать его большим соблазнам, слепо веря, что только немецкий человек толпы способен на такие ужасные деяния. Тот, кого мы называли «буржуа», является современным массовым человеком, но не в экзальтированные моменты коллективного возбуждения, а в безопасности (или, как правильнее говорить сегодня, в небезопасности) своей собственной частной жизни. Он развел частные и общественные функции, семью и работу настолько далеко, что больше не может найти в себе самом какую-либо связь между ними. Когда его профессия заставляет убивать людей, он не считает себя убийцей, потому что он не сделал это из предрасположенности, а в силу своей профессии. Просто так он и мухи не обидит.

Если сказать члену этого нового профессионального класса, созданного нашим временем, что его призовут к ответу за то, что он сделал, он не почувствует ничего, кроме того, что его предали. Но если в шоке катастрофы он действительно осознает, что на самом деле он был не только функционером, но и убийцей, то выходом для него будет не бунт, а самоубийство – точно так же, как многие уже выбрали путь самоубийства в Германии, где волны самоубийств идут одна за другой. И от этого никому из нас пользы тоже не будет.

#### IV

На протяжении многих лет мы встречали немцев, которые заявляют, что им стыдно быть немцами. И у меня часто возникал соблазн ответить, что мне стыдно быть человеком. Этот глубокий стыд, который многие люди самых разных национальностей испытывают сегодня, – единственное, что осталось от нашего чувства международной солидарности; и подходящее политическое выражение для него пока не найдено. Из-за своей зачарованности наших отцов человечеством национальный вопрос легкомысленно был забыт; гораздо хуже, что они Даже

---

<sup>13</sup> «Не забывайте о голоде и стуже в земной юдоли, стонущей от бед». Арендт явно цитирует по памяти последние строки «Трехгрошовой оперы», заменяя «голод» на «мрак»: «Bedenkt das Dunkel und die grosse Kalte / In diesem Tale, das von Jammer schallt».

не представляли себе, насколько ужасна идея человечества и иудео-христианская вера в единое происхождение человеческого рода. Не слишком приятно, даже избавившись от иллюзий о «благородном дикаре», открыть, что люди способны быть каннибалами. С тех пор народы лучше узнали друг друга и больше узнали о способности человека ко злу. В результате они все больше и больше испытывали отвращение к идее человечества и становились более восприимчивыми к расовым доктринам, которые отрицают саму возможность общности людей. Они инстинктивно чувствовали, что идея единого человечества в религиозной или гуманистической форме содержит обязательство общей ответственности, которую они не желают на себя брать. Идея человечества, очищенная от всякой сентиментальности, имеет очень серьезные последствия, требуя, чтобы в том или ином виде люди взяли на себя ответственность за все преступления, совершенные людьми, и чтобы все народы разделяли бремя зла, совершенного всеми остальными. Чувство стыда за то, что ты человек, глубоко индивидуально и по-прежнему остается неполитическим выражением этой идеи.

С политической точки зрения идея человеческой общности, не исключая ни один народ и не вменяя монополию вины ни одному, служит единственной гарантией, что какие-то «высшие расы» не почувствуют себя обязанными следовать «естественному закону» права сильных и истребить «низшие расы, недостойные выживания»; поэтому в конце «империалистической эпохи» мы окажемся в ситуации, когда нацисты покажутся грубыми предвестниками политических методов будущего. Следовать неимпериалистической политике и отстаивать нерасистскую веру с каждым днем становится все труднее, потому что с каждым днем становится все яснее, насколько велико для человека это бремя человеческого единства.

Возможно, те евреи, предкам которых мы обязаны первой концепцией идеи человеческой общности, кое-что знали об этом бремени, когда каждый год они говорили «Отец наш, владыка наш, мы согрешили перед Тобой», принимая на себя не только грехи своей собственной общины, но и вообще все человеческие проступки. Тех, кто сегодня готов идти по этому пути, не устраивает лицемерное признание «Слава Богу, я не такой», делаемое в ужасе от того, на что оказался способен немецкий национальный характер. Скорее всего, испытывая страх и трепет, они, наконец, осознали, на что человек способен, и это действительно служит предпосылкой любого современного политического мышления. Такие люди не подойдут на роль исполнителей возмездия. Но одно можно сказать наверняка: на них и только на них, тех, кто испытывает подлинный страх неизбежной вины рода человеческого, можно положиться, когда дело доходит до бесстрашной, бескомпромиссной и повсеместной борьбы против неисчислимого зла, которое способны причинить люди.

## Семена фашистского интернационала<sup>14</sup>

### I

Со всех сторон мы слышим, как от фашизма легко отмахиваются, говоря, что от него не останется ничего, кроме антисемитизма. А что касается антисемитизма, то весь мир, в том числе и евреи, научился мириться с ним, так что сегодня каждый, кто относится к нему серьезно, кажется немного смешным. Тем не менее антисемитизм, несомненно, был чертой, которая придала фашистскому движению ее международную привлекательность и помогла находить сочувствующих во всех странах и классах. Как мировой преступный союз, фашизм во многом основывался на антисемитизме. Поэтому если кто-то говорит, что антисемитизм останется единственным пережитком фашизма, то это равнозначно утверждению, что основная опора фашистской пропаганды и один из самых важных принципов фашистской политической организации сохранятся.

Выставление антисемитов простыми сумасшедшими и сведение антисемитизма к банальному предрассудку, который не стоит даже обсуждать, – весьма сомнительное достижение еврейской контрпропаганды. Из-за этого евреи никогда не понимали – даже тогда, когда они уже понесли непоправимый ущерб, – что их засосало в самый центр урагана политических передраг нашего времени. В результате неевреи тоже по-прежнему считают, что они могут справиться с антисемитизмом с помощью нескольких слов сочувствия. И упорно путают современную версию антисемитизма с простой дискриминацией меньшинств, даже не задумываясь о том, что его наиболее сильная вспышка произошла в стране, где дискриминация евреев была относительно слабой, тогда как в других странах с куда более сильной социальной дискриминацией (как, например, в Соединенных Штатах Америки) он не смог перерасти в значительное политическое движение.

На самом деле антисемитизм является одним из самых важных политических движений нашего времени, борьба против него составляет одну из важнейших обязанностей демократических государств, а его выживание служит одним из наиболее значимых признаков будущих опасностей. Для того чтобы правильно оценить его, следует помнить, что первые антисемитские партии на континенте уже в 1880-х гг. (в отличие от практики всех других правых партий) образовывали международные объединения. Другими словами, современный антисемитизм никогда не был делом просто экстремистского национализма: с самого начала он функционировал в качестве Интернационала. Учебником этого Интернационала после Первой мировой войны были «Протоколы сионских мудрецов», которые распространялись и читались во всех странах, независимо от того, сколько там было евреев – много, мало или не было вообще. Так, приведем яркий пример: при Франко «Протоколы» были переведены на испанский во время гражданской войны, даже несмотря на то, что в Испании из-за отсутствия евреев никакой еврейской проблемы не было.

Неоднократные доказательства того, что «Протоколы» были фальшивкой, и неустанные разоблачения их истинного происхождения не имеют большого значения. Гораздо полезнее и важнее объяснить не очевидное, а загадочное в этих «Протоколах», а именно: почему, несмотря на тот очевидный факт, что это подделка, в них продолжают верить. Здесь и только здесь лежит ключ к ответу на вопрос, который больше никто не задает, почему евреи были искрой, которая позволила разгореться нацизму, и почему антисемитизм был ядром, вокруг которого фашистское движение кристаллизовалось по всему миру. Важность «Протоколов»,

---

<sup>14</sup> Опубликовано в: Jewish Frontier, June 1945.

даже в тех странах, где не было никакой реальной еврейской проблемы, служит убедительным доказательством правильности тезиса, выдвинутого Александром Штейном<sup>15</sup>, но не имевшего ни малейшего эффекта, в 1930-е гг.: что организация мнимых сионских мудрецов была образцом, которому следовала фашистская организация, и что «Протоколы» содержат принципы, которые фашизм принял для того, чтобы захватить власть. Таким образом, секрет успеха этой подделки связан, в первую очередь, не с ненавистью к евреям, а, скорее, с безмерным восхищением хитростью якобы еврейской техники организации всего мира.

Если не брать в расчет дешевый макиавеллизм «Протоколов», их важнейшая чертой с политической точки зрения является то, что они, в принципе, антинациональны; что они показывают, как нация и национальное государство могут быть низвергнуты; что они не ограничиваются завоеванием одной определенной страны, но направлены на завоевание и установление власти над всем миром: и, наконец, что международный глобальный заговор, который они описывают, имеет этническую и расистскую основу, что позволяет людям без государства или территории править всем миром с помощью тайного общества.

Чтобы поверить, что евреи действительно использовали такой хитрый замысел (многие люди до сих пор верят в сущностную истину «Протоколов», даже признавая, что они – фальшивка), о евреях нужно знать только, что они, рассеянные повсюду, сумели сохраниться на протяжении двух тысячелетий, без государства или территории, как этническая общность; и что все это время они играли заметную роль в правительстве национальных государств посредством частного влияния; и что они связаны на международном уровне своими деловыми, семейными и благотворительными связями. Людям привыкшим к политике трудно понять, что такие огромные возможности для политической власти на самом деле никогда не должны были использоваться либо использовались лишь в незначительной степени в целях защиты (насколько непросто это понять, может увидеть любой еврей, который внимательно прочтет Бенджамина Дизраэли, одного из первых утонченных европейцев, который верил, что некое еврейское тайное общество участвует в мировой политике). Этого небольшого числа известных всем, в том числе тем, кто никогда не видел живого еврея, фактов достаточно, чтобы нарисованная в «Протоколах» картина приобрела заметную достоверность; более того, достаточно, чтобы вызвать подражание образцу, в воображаемом соперничестве за мировое господство – из всех народов – евреями.

Еще более важным элементом в «Протоколах», чем правдоподобность их образа евреев, является тот исключительный факт, что в своей безумной манере они затрагивают все существенные политические проблемы нашего времени. Их в целом антинациональный настрой и полуанархическое противостояние государству в значительной степени соответствует современному положению вещей. Показывая, как может быть подорвано национальное государство, «Протоколы» просто указывают, что они считают его колоссом на глиняных ногах, устаревшей формой концентрации политической власти. В этом они выражают, в своей вульгарной моде, то, что империалистические государственные деятели и партии с конца прошлого века старательно пытались скрыть за своей националистической фразеологией: что национальный суверенитет больше не является работающим политическим понятием, так как больше не существует политической организации, которая могла бы представлять или защищать суверенный народ в национальных границах. Таким образом, «национальное государство», утратив самые свои основы, ведет жизнь живого трупа, чье иллюзорное существование искусственно поддерживается повторными инъекциями империалистической экспансии.

Хронический кризис национального государства вступил в острую фазу сразу после окончания Первой мировой войны. Во многом этому способствовал очевидный провал попытки реорганизации Восточной и Юго-Восточной Европы с их смешанным населением по

---

<sup>15</sup> Alexander Stein, Adolf Hitler, Schiller der Weisen von Zion (Karlsbad: Graphia, 1936).

образцу западных национальных государств. Чем ниже падал престиж национального государства, тем выше был интерес к «Протоколам». В 1920-е гг. всевозможные антinationальные движения стали особенно привлекательными для масс. То, что в 1930-е гг. во всех странах, за исключением Германии, Советского Союза и Италии, и фашистские, и коммунистические движения были разоблачены как пятая колонна, как авангард внешней политики иностранных государств, не только не повредил им, но, возможно, даже помог. Массы очень хорошо понимали, какими были характер и цель этих движений; но в любом случае никто больше не верил в национальный суверенитет, и они были склонны отдавать предпочтение откровенно антinationальной пропаганде новых Интернационалов, а не устаревшему национализму, который казался одновременно лицемерным и слабым.

Мотив мирового заговора в «Протоколах» также соответствовал и до сих пор соответствует изменившейся ситуации, в которой на протяжении последних десятилетий проводилась политика. Нет больше никаких государств, а только мировые державы, и нет никакой политики отдельных стран, а только глобальная политика. Такими были условия современной политической жизни на протяжении последнего столетия – условия, которым Западная цивилизация, однако, до сих пор не может найти адекватный ответ. В то время, когда полная политическая информация, неизбежно касающаяся всего мира, доступна только профессионалам и когда государственные деятели не находят другого ключа к мировой политике, кроме тупикового пути империализма, для остальных, кто смутно ощущает нашу всемирную взаимозависимость, но не в состоянии понять, как на самом деле работает эта всеобщая связь, почти естественно обратиться к подчеркнуто простой гипотезе глобального заговора и тайной всемирной организации. Поэтому когда их призывают присоединиться к ее одной, якобы секретной, а на деле полузаговорщической мировой организации, эта идея вовсе не кажется им отталкивающей, и они даже не видят в ней ничего необычного. Они явно считают, что только так можно стать политически активными.

Наконец, концепция всемирной организации, члены которой составляют этническую общность, рассеянную по всему миру, применима не только к евреям. Пока еврейская судьба была любопытной диковинкой, антисемитизм полагался на знакомые аргументы XIX столетия против незваных гостей и ограничивался страхом перед универсальным чужаком. В то же время мало кого интересовали спекуляции о том, как евреям удалось выжить без государства или без территории. Тем не менее, когда после Первой мировой войны остро встали вопросы меньшинств и безгосударственности, показанный евреями пример того, что национальность, связь с народом, не обладающим преимуществами политической организации, может поддерживаться и без государства или территории, был повторен почти всеми европейскими народами. Поэтому они даже больше, чем раньше, склонны принимать те методы, которые якобы удалось сохранить еврейскому народу на протяжении двух тысячелетий. И не случайно, что нацисты пользовались такой сильной поддержкой среди немцев, проживающих за пределами Германии, что наиболее характерными чертами своей идеологии в качестве международного движения национал-социализм обязан Aulands-Deutschen.

## II

Только тогда, когда фашизм рассматривается как антinationальное международное движение, становится понятно, почему нацисты, с непревзойденной прохладой, не отвлекаясь на национальные сентиментальности или сомнения относительно блага своего народа, позволили своей земле превратиться в руины. Немецкая нация лежит в руинах вместе со своим террористическим режимом, просуществовавшим двенадцать лет, но полицейский аппарат его работал безотказно вплоть до последней минуты. Демаркационная линия, которая в последующие

десятилетия и, возможно, еще дольше будет разделять Европу четче, чем все национальные границы прошлого, проходит прямо посередине Германии.

Общественное мнение в мире не в состоянии понять эти самостоятельно созданные руины. Они лишь частично объясняются давними нигилистическими наклонностями нацизма, их идеологией *Gdttterdammerung*, которая предсказывала бесчисленные катастрофические бедствия в случае поражения. Необъясненным остается то, что ни одну из оккупированных стран нацисты, похоже, не оставили в такой разрухе, как саму Германию. Кажется, как будто они сохранили свою террористическую машину и с ее помощью продолжали свое с военной точки зрения полностью бесполезное сопротивление только для того, чтобы воспользоваться любой возможностью, позволяющей осуществить полное уничтожение. Но даже если верно рассматривать чисто разрушительные наклонности фашизма в качестве одной из наиболее активных сил движения, было бы опасной ошибкой истолковывать эти разрушительные импульсы как достигающие наивысшей точки в театральном, суицидальном стремлении, направленном против движения как такового. Возможно, нацисты планировали полностью уничтожить Германию, возможно, они рассчитывали на разорение всего европейского континента путем уничтожения немецкой промышленности, возможно, они рассчитывали оставить союзникам бремя и ответственность за управление неуправляемым хаосом, но, конечно, они никогда не хотели ликвидировать само фашистское движение<sup>16</sup>.

Очевидно, что, по мнению нацистов, простое поражение Германии означало бы гибель фашистского движения; но, с другой стороны, полное уничтожение Германии дает фашизму возможность превратить исход этой войны просто во временное поражение движения. То есть нацисты принесли Германию в жертву будущему фашизму – хотя, конечно, еще вопрос, «окупится» ли эта жертва в долгосрочной перспективе. Все дискуссии и конфликты между партией и верховным командованием, между гестапо и вермахтом, между представителями так называемых правящих классов и реальными правителями партийной бюрократии касались именно этой жертвы, что для нацистских политических стратегов было очевидной и необходимой вещью, но для попутчиков из числа военных и промышленников это было невообразимо.

Как бы ни оценивать шансы этой политики на выживание фашистского Интернационала, после объявления о смерти Гитлера сразу стало ясно, что гибель Германии, то есть уничтожение мощнейшего центра силы фашистского движения, вовсе не означало исчезновение фашизма из международной политики. Несмотря на текущую расстановку сил, ирландское правительство выразило свои соболезнования (больше не существующему) правительству Германии, а Португалия даже объявила два дня траура, что было бы очень необычным шагом даже в обычных обстоятельствах. В позиции этих «нейтральных государств» больше всего поражает то, что в то время, когда ничто, по-видимому, не ценится так высоко, как грубая сила и абсолютный успех, они осмелились действовать так бесцеремонно по отношению к великим державам-победительницам. Де Валера и Салазар не идеалисты-дураки. Они просто оценивают ситуацию несколько иначе и не верят, что власть тождественна военной силе и промышленному потенциалу. Они считают, что нацизм и все связанные с ним идеологические элементы, проиграли только битву, а не войну. А так как по опыту они знают, что имеют дело с международным движением, они не считают уничтожение Германии решающим ударом.

---

<sup>16</sup> Незадолго до поражения Германии появлялись сообщения, что для организации и руководства подпольным фашистским движением были отобраны новые и неизвестные люди. Кажется вероятным, что Гиммлер и некоторые из его ближайших приспешников надеялись, что смогут уйти в подполье, сохранить руководство на нелегальном положении и провозгласить Гитлера мучеником. В любом случае скорость, с которой видные деятели партии и полицейского аппарата были пойманы союзниками, свидетельствует о том, что с их планом что-то пошло не так. События последних недель еще не прояснились и, возможно, никогда не проявятся. Наиболее правдоподобное объяснение, однако, можно найти в докладе на последнем заседании, состоявшемся сразу перед смертью Гитлера, в ходе которого он якобы утверждал, что войскам СС больше нельзя доверять.



### III

Редко кто замечал, что отличительным признаком фашистской пропаганды было то, что она никогда не довольствовалась ложью, а сознательно предлагала превратить свою ложь в действительность. Так, за несколько лет до войны *Das Schwarze Korps*<sup>17</sup> признавала, что люди за рубежом не до конца верят утверждению нацистов, что все евреи – бездомные попрошайки, которые могут существовать только как паразиты в экономическом организме других наций; но у зарубежного общественного мнения, предсказывали они, через несколько лет будет возможность убедиться в этом, когда немецкие евреи пересекут границы как толпа попрошаек. К такому производству лживой действительности никто не был готов. Отличительной чертой фашистской пропаганды никогда не была ее ложь, потому что такой пропаганда была практически везде и всегда. Она отличалась тем, что эксплуатировала давний западный предрассудок, который смешивает реальность с истиной и делает «истиной» то, что до тех пор могло считаться лишь ложью. Именно поэтому спорить с фашистами – заниматься так называемой контрпропагандой – глубоко бессмысленно: это все равно что обсуждать с потенциальным убийцей, жива ли его будущая жертва или мертва, совершенно забывая о том, что человек способен убить и что убийца, убивая данного индивида, легко может предоставить доказательство правильности этого утверждения.

Для этого нацисты и уничтожили Германию – чтобы доказать свою правоту, так как этот актив может быть самым ценным для их будущей деятельности. Они уничтожили Германию, чтобы показать, что они были правы, когда они говорили, что немецкий народ боролся за свое существование, что с самого начала было чистой ложью. Они учинили хаос, чтобы показать, что они были правы, когда говорили, что Европа имела выбор только между нацистским порядком и хаосом. Они продолжали воевать до тех пор, пока русские действительно не пришли на Эльбу и Адриатику, чтобы придать своей лжи об опасности большевизма *post facto* основания в реальности. Конечно, они надеялись, что в скором времени, когда народы мира действительно поймут масштабы европейской катастрофы, их политика окажется полностью оправданной.

Если бы национал-социализм действительно был по своей сути немецким национальным движением, как, например, итальянский фашизм в свое первое десятилетие, то он мало что выиграл бы от таких доказательств и аргументов. В этом случае только успех имел бы решающее значение, а их провал как национального движения был бы оглушительным. Нацисты и сами прекрасно это знают, и поэтому несколько месяцев тому назад они ушли из государственного аппарата, снова отделив партию от государства и тем самым избавившись от тех националистических шовинистических элементов, которые примкнули к ним отчасти из оппортунистических соображений, отчасти по недоразумению. Но нацисты также знают, что, даже если союзники будут настолько глупы, чтобы связаться с новыми дарланами, эти группы не будут иметь никакого влияния просто потому, что самой немецкой нации больше не будет существовать.

На самом деле начиная с конца 1920-х гг. национал-социалистическая партия была уже не чисто немецкой партией, а международной организацией со штаб-квартирой в Германии. В результате войны она утратила свою стратегическую базу и оперативные средства определенного государственного аппарата. Эта утрата национального центра не обязательно невыгодна для сохранения фашистского Интернационала. Освободившись от всех национальных уз и связанных с этим неизбежных сопутствующих проблем, нацисты могут попробовать еще

---

<sup>17</sup> «Черный корпус» (мел.) – официальный печатный орган СС.

раз в послевоенную эпоху создать по-настоящему тайное общество, рассеянное по всему миру, которое всегда было для них образцом организации.

Фактическое существование Коммунистического интернационала, наращивающего свое влияние, будет служить для них большим подспорьем. Долгое время (на протяжении последних нескольких месяцев их пропаганда основывалась исключительно на этом) они утверждали, что это не что иное, как еврейский мировой заговор сионских мудрецов. Им придется убедить многих, что противостоять этой глобальной угрозе можно, только создав такую же организацию. Опасность такого развития событий возрастет, если демократические государства продолжат работать с чисто национальными категориями, отвергая любую идеологическую стратегию войны и мира и тем самым создавая впечатление, что, в отличие от идеологических Интернационалов, они отстаивают только непосредственные интересы отдельных народов.

В этом предприятии, гораздо более опасном, чем просто подпольное чисто немецкое движение, фашизм найдет весьма полезной расистскую идеологию, которая в прошлом использовалась только национал-социализмом. Уже становится очевидным, что колониальные проблемы останутся нерешенными и что в результате конфликты между белыми и цветными народами, то есть так называемые расовые конфликты, станут еще более острыми. Кроме того, соперничество между империалистическими нациями на международной арене продолжится. В этом контексте фашисты, которые даже в своей немецкой версии не отождествляли господствующую расу с какой-либо национальностью, а говорили об «арийцах» вообще, легко могут сделать себя главными героями единой стратегии превосходства белых, способными превзойти любую группу, которая не отстаивает безоговорочно равные права для всех народов.

Антиеврейская пропаганда, несомненно, останется одним из самых важных пунктов притяжения для фашизма. Из-за ужасных потерь, понесенных евреями в Европе, мы упустили из виду еще один аспект ситуации: численно ослабленный еврейский народ после войны географически будет рассеян шире, чем прежде. В отличие от донацистской эпохи, вряд ли на земле осталось место, где не живут евреи в большем или меньшем количестве, хотя нееврейское окружение всегда смотрит на них с некоторым недоверием.

Как двойник арийского фашистского интернационала, евреи, воспринимаемые как этнические представители Коммунистического интернационала, сегодня, возможно, даже более полезны, чем раньше. Это особенно верно для Южной Америки, известной своими сильными фашистскими движениями.

В самой Европе возможности для организации фашистского Интернационала, не связанного проблемами государства и территории, еще шире. Число так называемых беженцев, продукта революций и войн последних двух десятилетий, с каждым днем только увеличивается. Покинувшие территории, на которые они не готовы или не способны вернуться, эти жертвы нашего времени уже образовали осколки национальных групп во всех европейских странах. Восстановление европейской национальной системы означает для них бесправие, в сравнении с которым пролетарии XIX в. пользовались привилегированным статусом. Они могли бы стать истинным авангардом европейского движения – и многие из них действительно играли заметную роль в Сопротивлении; но они также могут легко пасть жертвой других идеологий, действующих на международной основе. Наглядным примером этого служат 250000 польских солдат, которым не оставляют иного выбора, кроме сомнительного статуса наемников под британским командованием для оккупации Германии.

Даже без этих относительно новых проблем, «восстановление» было бы крайне опасным. Тем не менее на всех территориях, не находящихся под прямым русским влиянием, вчерашние силы чувствуют себя более или менее спокойно. Это восстановление, разворачивающееся с помощью усиленной националистической шовинистической пропаганды, особенно во Франции, вступает в явное противоречие с тенденциями и устремлениями, порожденными движениями сопротивления, этими по-настоящему европейскими движениями. Эти устремления не

забыты, даже если на какое-то время они были отодвинуты на второй план после освобождения и из-за тягот повседневной жизни. В начале войны всем, кто был знаком с европейскими условиями, включая многочисленных американских корреспондентов, было очевидно, что ни один народ в Европе не был больше готов к войне из-за Национальных конфликтов. Возрождение территориальных споров может ненадолго принести победившим правительствам престиж и создать впечатление, что старый европейский национализм, которому удалось предложить надежный фундамент для восстановления, вернулся к жизни. Вскоре, однако, станет очевидно, что все это лишь кратковременный блеф, от которого нации отвернутся с фанатизмом и еще большим ожесточением к идеологиям, способным предложить внешне международные решения, то есть к фашизму и коммунизму.

В этих условиях способность нацистов работать по всей Европе без привязки к отдельной стране и опоры на определенное правительство может оказаться преимуществом. Не заботясь более о благе или горе одного народа, они вообще смогут принять вид подлинного европейского движения. Существует опасность, что нацизм сможет успешно преподнести себя в качестве наследника европейского движения сопротивления, позаимствовав у него лозунг европейской федерации и используя его в своих собственных целях. Не следует забывать, что, даже когда было совершенно очевидно, что он означал лишь Европу под управлением немцев, лозунг объединенной Европы оказался самым успешным пропагандистским оружием нацистов. И вряд ли он утратит свою привлекательность в разоренной послевоенной Европе под властью националистических правительств.

Таковы, в целом, опасности, которые поджидают нас завтра. Бесспорно, фашизм однажды уже потерпел поражение, но мы далеки от того, чтобы полностью искоренить это главное зло нашего времени. Ведь у него прочные корни, и называются они – антисемитизм, расизм, империализм.

## Методы социальных наук и изучение концентрационных лагерей<sup>18</sup>

Каждая наука неизбежно основывается на немногих невыраженных, элементарных и аксиоматических допущениях, которые обнаруживают себя лишь при столкновении с совершенно неожиданными явлениями, непостижимыми в ее прежних категориальных рамках. Социальные науки и методы, развитые ими в течение прошедших ста лет, не являются исключениями из этого правила. В данной работе утверждается, что институт концентрационных лагерей и лагерей смерти, то есть социальные условия в них, а также их функции при тоталитарных режимах в рамках их аппаратов террора, вполне могут стать тем неожиданным феноменом, тем камнем преткновения на пути к должному пониманию современной политики и общества, который вынудит обществоведов и историков пересмотреть прежде не подвергавшиеся сомнению фундаментальные представления относительно хода мировых событий и человеческого поведения.

За обычными трудностями изучения темы, в которой само перечисление фактов звучит как нечто «неумеренное и ненадежное» и о которой от первого лица писали люди, «никогда не сумевшие полностью» убедить «себя, что все это реально, происходит на самом деле, а не всего лишь кошмар», скрывается более серьезное недоумение: в рамках суждений здравого смысла ни сам институт, ни то, что происходило внутри его надежно охраняемых ограждений, ни его политическая роль не объяснимы. Если исходить из того, что большинство наших действий имеют утилитарный характер и что наши злодеяния берут начало в некотором «преувеличении» личной выгоды, мы вынуждены заключить, что этот конкретный институт тоталитаризма недоступен человеческому пониманию. Если же, с другой стороны, отвлечься от любых норм, которых мы обычно придерживаемся, и рассматривать исключительно фантазмы идеологических утверждений расизма в их логической чистоте, то нацистская политика истребления оказывается более чем осмысленной. За ее ужасами стоит та же жесткая логика, что характерна для некоторых систем паранойяльного мышления, где после того, как принята первая безумная посылка, все остальное вытекает из нее с абсолютной необходимостью. Безумие таких систем явно заключается не только в их исходной послышке, но и в том, что за ней следует, невзирая на все факты и невзирая на реальность, которая учит нас, что все, что мы делаем, мы не можем осуществить с абсолютным совершенством. Иными словами, не только неутилитарный характер самих лагерей – бессмысленность «наказания» совершенно невинных людей, неспособность поддерживать узников в состоянии, пригодном для выполнения полезной работы, избыточность запугивания совершенно подавленного населения – придает им их отличительные и тревожные черты. Существенной оказывается их антиутилитарная функция, тот факт, что даже крайне критические ситуации в ходе военных действий не могли оказывать влияние на эту «демографическую политику». Нацисты как будто бы были убеждены, что поддерживать работу фабрик смерти было важнее, чем выиграть войну<sup>19</sup>.

В этом контексте эпитет «беспрецедентный»<sup>20</sup> в приложении к тоталитарному террору приобретает особое значение. Путь к тотальному господству ведет через множество промежуточных стадий, которые относительно нормальны и вполне доступны для понимания. Далеко не беспрецедентным является ведение агрессивной войны; вырезание вражеского населения

---

<sup>18</sup> Опубликовано в: Jewish Social Studies, 1950.

<sup>19</sup> Геббельс свидетельствует в своем дневнике за март 1943 г.: «Фюрер счастлив... что евреи эвакуированы из Берлина. Он правильно говорит, что война сделала для нас возможным решение целой серии проблем, которые никогда не были бы решены в нормальное время. Евреи, несомненно, будут проигравшими в этой войне, что бы ни произошло» (The Goebbels Diaries 1942–1943, edited by Louis P. Lochner, New York, 1948, 314).

или даже тех, кого считают враждебным народом, выглядит повседневным делом в кровавых хрониках истории; истребление коренного населения в процессе колонизации и создания новых поселений происходило в Америке, Австралии и Африке; рабство является одним из древнейших институтов человечества, и массы рабов, используемых государством для выполнения общественных работ, были одной из основ Римской империи. Даже притязания на мировое господство, хорошо известные из истории политических мечтаний, не являются монополией тоталитарных правительств и по-прежнему могут быть объяснены фантастически гипертрофированной жаждой власти. Все эти аспекты тоталитарного правления, какими бы отвратительными и преступными они ни были, имеют одну общую черту, которая отделяет их от рассматриваемого нами феномена: в отличие от концентрационных лагерей, они имеют определенную цель и выгодны правителям примерно так, как обычное ограбление выгодно грабителю. Мотивы ясны и средства достижения цели утилитарны в общепринятом понимании слова. Необычайная трудность, с которой мы сталкиваемся, пытаясь понять институт концентрационного лагеря и найти ему место в истории человечества, состоит в отсутствии таких утилитарных критериев, отсутствии, которое больше, чем что бы то ни было, ответственно за странную атмосферу нереальности, окружающую этот институт и все с ним связанное.

Чтобы яснее понять различие между доступным и недоступным пониманию, то есть между теми данными, которые соответствуют нашим общепринятым исследовательским методам, и теми, которые взрывают всю их систему координат, полезно вспомнить различные стадии развертывания нацистского антисемитизма с момента прихода Гитлера к власти в 1933 г. и до создания фабрик смерти в разгар войны. Антисемитизм сам по себе имеет долгую и кровавую историю, и тот факт, что фабрики смерти питались в основном еврейским «материалом», несколько затемняет уникальность этой «операции». Более того, нацистский антисемитизм продемонстрировал почти поразительное отсутствие оригинальности; он не содержал ни одного элемента – ни в идеологическом выражении, ни в пропагандистском применении, – происхождение которого нельзя было бы проследить до более ранних движений и который уже не стал бы клише в литературе, исполненной ненависти к евреям, еще до возникновения самого нацизма. Антиеврейское законодательство в гитлеровской Германии 1930-х гг., достигшее кульминации в принятии Нюрнбергских законов в 1935 г., было новым с точки зрения событий XIX–XX вв.; однако оно не было новым ни в качестве общепризнанной цели антисемитских партий во всей Европе, ни в плане более ранней истории евреев. Безжалостное вытеснение евреев из экономики Германии между 1936 и 1938 г. и погромы в ноябре 1938 г. по-прежнему оставались в рамках того, что можно было ожидать при захвате антисемитской партией монополии на власть в европейской стране. Следующий шаг, создание гетто в Восточной Европе и сосредоточение в них всех евреев в первые годы войны, вряд ли мог удивить внимательного наблюдателя. Все это казалось омерзительным и преступным, но полностью рациональным. Антиеврейское законодательство в Германии, нацеленное на удовлетворение народных требований, изгнание евреев из «переполненных» профессий, по всей видимости, должно было освободить место для страдающего от серьезной безработицы поколения интеллектуалов; принудительная эмиграция, со всеми сопутствующими элементами обыкновенного грабежа после 1938 г. осуществлялась с расчетом на распространение антисемитизма по всему миру, как откровенно указывалось в меморандуме германского министерства иностранных дел всем должностным лицам за рубежом<sup>20</sup>; сосредоточение евреев в восточноевропейских гетто с последующим распределением их имущества среди местного населения казалось блестя-

<sup>20</sup> Циркулярное письмо за январь 1939 г. министерства иностранных дел всем германским государственным органам за рубежом констатировало: «отправки в эмиграцию всего лишь около 100000 евреев уже оказалось достаточно для того, чтобы пробудить во многих странах интерес, если не понимание еврейской опасности. Можно предполагать, что еврейский вопрос разрастется до проблемы международной политики, когда будет перемещено большое число евреев из Германии, Польши и Румынии...»

щей политической уловкой, позволявшей привлечь на свою сторону крупные антисемитские сегменты в восточноевропейских народах, предложить им утешение за потерю политической независимости и запугать примером народа, пострадавшего гораздо сильнее. В дополнение к этим мерам во время войны можно было бы ожидать голодного рациона с одной стороны и принудительного труда – с другой; в случае победы все эти меры представлялись бы подготовкой к объявленному проекту создания еврейской резервации на Мадагаскаре<sup>21</sup>. На самом деле, таких мер (а не фабрик смерти) ожидали не только внешний мир и сам еврейский народ, но и высшие германские чиновники в администрации оккупированных восточных территорий, военные власти и даже высокопоставленные должностные лица в иерархии нацистской партии<sup>22</sup>.

Ни судьба европейского еврейства, ни создание фабрик смерти невозможно полностью объяснить и понять в категориях антисемитизма. И то и другое выходит за рамки антисемитской аргументации, а также политических, социальных и экономических мотивов, стоящих за пропагандой антисемитских движений. Антисемитизм только подготовил почву, позволив начать уничтожение народов с еврейского народа. Теперь мы знаем, что эта гитлеровская программа истребления не делала исключений для немецкого народа, планируя уничтожение значительной его части<sup>23</sup>.

Сами нацисты или, скорее, та часть нацистов, которая, вдохновляемая Гиммлером и с помощью войск СС реально перешла к политике истребления, нисколько не сомневалась в том, что они вступили в совершенно иную сферу действий, что они делали что-то, чего не ожидали от них даже самые злейшие враги. Они были вполне убеждены, что залогом успеха этого предприятия была крайне малая вероятность того, что кто-то во внешнем мире поверит, что это правда. Ибо правда была в том, что, хотя все другие направленные против евреев меры имели некоторый смысл и, скорее всего, были выгодны их авторам в том или ином отношении, газовые камеры были не выгодны никому. Сами депортации, в период острой нехватки подвижного состава, создание дорогостоящих фабрик смерти, отвлечение на это рабочей силы, крайне необходимой для удовлетворения нужд фронта, общее деморализующее воздействие на германские вооруженные силы и на население оккупированных территорий – все это катастрофически сказывалось на военных действиях на Восточном фронте, как неоднократно ука-

<sup>21</sup> Этот проект пропагандировался нацистами в начале войны. Альфред Розенберг в своей речи 15 января 1939 г. объявил, что нацисты потребуют того, чтобы «те люди, которые дружественно настроены к евреям, прежде всего западные демократии, у которых так много пространства... выделили для евреев территорию за пределами Палестины, конечно, для того, чтобы создать еврейскую резервацию, а не еврейское государство». *Nazi Conspiracy*, VI, 93.

<sup>22</sup> Очень любопытно видеть в документах нацистов, опубликованных в *Nazi Conspiracy* и *Trial of the Major War Criminals* (Nuremberg, 1947), как мало людей в самой нацистской партии было готово к политике истребления. Истребление всегда осуществлялось войсками СС, по инициативе Гиммлера и Гитлера, вопреки протестам гражданских и военных властей. Альфред Розенберг, руководивший администрацией оккупированных территорий России, в 1942 г. жаловался, что «новые главные властители [то есть офицеры СС] пытались осуществлять прямые действия на оккупированных восточных территориях, игнорируя тех высокопоставленных должностных лиц, которые были назначены самим фюрером» [то есть нацистских чиновников, не состоящих в СС] (см.: *Nazi Conspiracy*, IV, 65). Доклады о ситуации на Украине осенью 1942 г. (*Nazi Conspiracy*, III) ясно показывают, что ни вермахт, ни Розенберг не знали о планах уничтожения населения. Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, даже осмелился в сентябре 1943 г., когда большинство партийных чиновников были запуганы до полной покорности, сказать во время встречи комитета по экономике военного времени и военного комитета: «Вам, разумеется, известен идиотский тезис о неполноценности покоренных нами народов. И это в то время, когда рабочая сила этих народов является одним из важнейших источников нашей борьбы за победу». *Trial of the Major War Criminals*, XXIX, 672.

<sup>23</sup> Во время обсуждения в гитлеровском штабе мер, которые будут осуществлены после окончания войны, Гитлер предложил Национальный закон о здоровье: «После общенационального рентгенологического исследования фюреру должен быть представлен список больных, особенно страдающих легочными и сердечными болезнями. На основе нового Закона о здравоохранении в Рейхе... эти семьи более не смогут оставаться в обществе и им более не будет позволено иметь детей. То, что произойдет с этими семьями, будет определяться дальнейшими приказами фюрера». *Nazi Conspiracy*, VII, 175 (no date), to. «Только представим, что об этих событиях станет известно другой стороне и она будет их использовать. Вероятнее всего, такая пропаганда не будет иметь воздействия только потому, что люди, читающие и слышащие об этом, просто не будут готовы этому поверить». Из секретного доклада об убийстве 5000 евреев в июне 1943 г. *Nazi Conspiracy*, I, 1001.

зывали военные власти и нацистские чиновники, протестуя против действия войск СС<sup>24</sup>. Такие соображения, однако, не были просто упущены из виду теми, кто возглавил процесс истребления. Даже Гиммлер знал, что во время крайней нехватки рабочей силы он уничтожает большое число рабочих, которых, по крайней мере, можно было бы заставить работать до смерти, а не просто убивать безо всякой продуктивной цели. И канцелярия Гиммлера издавала приказ за приказом, предостерегая военачальников и чиновников нацистской иерархии, что никакие экономические или военные соображения не должны мешать программе уничтожения<sup>25</sup>.

Лагеря смерти в структуре тоталитарного террора предстают самой крайней формой концентрационных лагерей. Истреблению подвергались люди, которые для всех практических целей уже были «мертвы». Концентрационные лагеря существовали задолго до того, как тоталитаризм сделал их главным институтом власти<sup>26</sup>, и для них всегда было характерно, что они были не учреждениями системы исполнения наказаний, что заключенные в них не обвинялись ни в каком преступлении и что в общем и целом они были предназначены для присмотра за «нежелательными элементами», то есть людьми, которые по той или иной причине были лишены правового статуса и своего законного места в правовой системе страны проживания. Интересно, что тоталитарные концентрационные лагеря впервые были созданы для людей, совершивших «преступление», а именно преступление оппозиции к властвующему режиму, причем число этих лагерей росло по мере сокращения политической оппозиции, и они расширялись, когда источник людей, подлинно враждебных режиму, был исчерпан. Ранние нацистские лагеря были достаточно плохи, но вполне понятны: они управлялись СА с применением бесчеловечных методов и были явно направлены на то, чтобы сеять страх, уничтожать выдающихся политиков, лишать оппозицию ее лидеров, запугивать потенциальных лидеров, чтобы те остались в неизвестности, и удовлетворять жажду мщения людей из СА не только по отношению к их прямым противникам, но и к членам высших классов. В этом отношении террор СА явно представлял собой компромисс между режимом, который в то время не хотел терять своих могущественных промышленных покровителей, и движением, ожидавшим подлинной революции. Полное умиротворение антинацистской оппозиции было, по-видимому, достигнуто к январю 1934 г.; по крайней мере, таково было мнение самого гестапо и высокопоставленных нацистских чиновников<sup>27</sup>. К 1936 г. были завоеваны симпатии подавляющего большинства населения к новому режиму: безработица была ликвидирована, уровень жизни низших классов постоянно рос и наиболее мощные источники социального недовольства почти иссякли. Вследствие этого численность содержащихся в концентрационных лагерях достигла исторического минимума просто потому, что более не существовало никаких активных или

<sup>24</sup> Примечательно, что протесты военных властей были реже и менее ожесточенными, чем у старых членов партии. В 1942 г. Ганс Франк категорически утверждал, что ответственность за уничтожение евреев лежит на «высших сферах». И он продолжает: «Недавно я смог доказать, что [задержка большой программы строительства] не произошла бы, если бы многие тысячи работающих в ней евреев не были бы депортированы». В 1944 г. он снова жалуется и добавляет: «Когда мы выиграем войну, тогда можно будет сделать фарш из поляков и украинцев и всех остальных, кто крутится рядом, и мне это безразлично...». *Nazi Conspiracy*, IV, 902, 917. На официальном совещании в Варшаве в январе 1943 г. государственный секретарь Крюгер высказал озабоченность оккупационных сил: «Поляки говорят: после уничтожения евреев они применяют те же методы, чтобы убрать поляков с этой территории и ликвидировать их точно так же, как евреев». То, что это действительно намечалось как следующий шаг, ясно из речи Гиммлера в Кракове в марте 1942 г.

<sup>25</sup> То, что «экономические соображения принципиально не должны учитываться при решении [еврейской] проблемы» приходилось повторять, начиная с 1941 г. и далее.

<sup>26</sup> Концентрационные лагеря впервые появились во время англо-бурской войны, а концепция «профилактического заключения под стражу» была впервые применена в Индии и Южной Африке.

<sup>27</sup> В 1934 г. рейхсминистр внутренних дел Вильгельм Фрик, старый член партии, попытался издать распоряжение «констатирующее, что «с учетом стабилизации ситуации в стране» и «в целях уменьшения злоупотреблений в связи с профилактическим помещением под стражу», «рейхсминистр принял решение ввести ограничения на применение профилактического помещения под стражу». См. *Nazi Conspiracy*, II, 259; cf. also VII, 1099. Это распоряжение никогда не было опубликовано и применение практики «профилактического помещения под стражу» очень расширилось в 1934 г.

даже подозреваемых противников режима, которых можно было подвергнуть «профилактическому помещению под стражу».

Именно после 1936 г., то есть после усмирения страны, нацистское движение стало более радикальным и более агрессивным на внутренней и международной арене. Чем меньше врагов нацизм встречал в Германии и чем больше друзей приобретал за рубежом, тем более нетерпимым и более экстремистским становился «революционный принцип». Концентрационные лагеря начинают наполняться в 1938 г. в связи с массовыми арестами немецких евреев-мужчин во время ноябрьских погромов; но Гиммлер говорил об этом уже в 1937 г., когда, выступая перед высшим офицерским составом рейхсвера, он объяснял, что придется считаться и с «четвертым театром военных действий, внутри Германии». В реальности эти «страхи» не имели под собой никаких оснований, и глава германской полиции знал это лучше, чем кто-либо. Когда через год разразилась война, он даже не попытался сделать вид, что это так и использовать войска СС для выполнения полицейских функций внутри Германии, а сразу же отправил их на восточные территории, куда они прибывали после успешного завершения военных действий для того, чтобы взять руководство оккупацией побежденных стран. Позже, когда партия решила поставить всю армию полностью под свой контроль, Гиммлер, не колеблясь, отправил свои отряды СС на фронт.

Однако главной обязанностью СС были и оставались контроль и управление концентрационными лагерями, от чего было полностью отстранено СА. (Только в последние годы войны СА снова стала играть некоторую незначительную роль в системе лагерей, но теперь войска СА находились под управлением СС). Именно этот тип концентрационного лагеря, а не его ранние формы, кажется нам поразительным и, на первый взгляд, необъяснимым явлением.

Лишь часть заключенных этих новых лагерей, обычно остававшихся в них с более раннего времени, может считаться противниками режима. Куда большей была доля преступников, отправленных в лагеря после того, как они отсидели обычные тюремные сроки, и так называемых асоциальных элементов, включающих гомосексуалистов, бродяг, тунеядцев и т. п. Подавляющее большинство людей, составлявших основную массу лагерного населения, были совершенно невинны с точки зрения режима, вполне безобидны в любом отношении, не виновны ни в плане политических убеждений, ни в совершении преступных действий.

Второй характерной чертой лагерей, созданных Гиммлером и управлявшихся СС, был их постоянный характер. В сравнении с Бухенвальдом, в котором в 1944 г. содержалось более 80000 заключенных, все ранние лагеря утрачивают свое значение.

В таблице ниже показан рост количества заключенных и смертность в Бухенвальде в 1937–1945 гг. Она была составлена на основе нескольких списков, приведенных в Nazi Conspiracy, IV.

Год	Прибытие	Численность лагеря		Умершие	Самоубийства
		Высокая	Низкая		
1937	2012	2561	929	48	-
1938	20122	18105	2633	771	11

Еще более явным становится характер постоянной работы газовых камер, чья дорогостоящая аппаратура делала охоту за новым «материалом» для фабрикация трупов почти необходимостью.

Большое значение для развития сообществ концентрационных лагерей имел новый тип лагерной администрации. На смену жестокости войск СА, которым было позволено неистов-



ствовать и убивать кого угодно, пришла регулируемая смертность и четко организованные мучения, с расчетом не столько на умерщвление жертвы, сколько на поддержание ее в постоянном состоянии умирания.

1939	9553	12775	5392	1235	3
1940	2525	10956	7383	1772	11
1941	5896	7911	6785	1522	17
1942	1411	10075	7601	2898	3
1943	42172	37319	11275	3516	2
1944	97866	84505	41240	8644	46
1945	42823	86232	21000	13056	16

В значительной мере внутреннее управление было передано в руки самих заключенных, которых заставили жестоко обращаться со своими товарищами по заключению, очень сходным образом с тем, как это делало СС. С течением времени и по мере закрепления системы, мучения и жестокое обращение все более становились прерогативой так называемых капо. Эти меры были не случайны и вряд ли вызваны ростом лагерей. В ряде случаев СС открыто приказывало, чтобы казни исполнялись только заключенными. Также массовые убийства, не только в форме удушения газом, но и в виде массовых казней в обычных лагерях, становились максимально механизированными \ В результате заключенные лагерей СС жили намного дольше, чем в предшествовавших лагерях; создается впечатление, что новые волны террора или депортации в лагеря уничтожения происходили только тогда, когда было гарантировано поступление новых заключенных.

Управление было передано преступникам, составлявшим бесспорную лагерную аристократию до тех пор, пока, в начале 1940-х гг., Гиммлер не поддавался внешнему давлению и не допустил использование лагерей для производительного труда. С тех пор лагерной элитой стали политические заключенные, так как СС вскоре обнаружило, что в хаотических условиях, создаваемых бывшей аристократией преступников, невозможно выполнять никакую работу. При этом никогда управление не передавалось в руки наиболее многочисленной и явно наименее опасной группе совершенно невиновных узников. Напротив, эта категория всегда находилась на самом низком уровне во внутренней социальной иерархии лагерей, несла наибольшие потери в ходе депортаций и более всего подвергалась жестокому обращению. Иными словами, в концентрационном лагере намного безопаснее было быть убийцей или коммунистом, чем просто евреем, поляком или украинцем.

Что касается самих надзирателей из СС, то, к сожалению, приходится отбросить представление о том, что они составляли нечто вроде негативной элиты преступников, садистов и полубезумных личностей – представление по большей части верное по отношению к ранним войскам СА, из которых обычно набирались добровольцы для службы в концентрационных лагерях. Все данные указывают на то, что управлявшие лагерями люди из СС были совершенно нормальны; их отбор проходил в соответствии с самыми различными и неожиданными принципами, ни один из которых не мог обеспечить набор особенно жестоких людей или садистов. Более того, управление лагерями осуществлялось таким образом, что в рамках всей этой системы заключенные выполняли те же самые «обязанности», что и сами надзиратели.

Возможно, труднее всего представить и ужаснее всего осознать ту полную изоляцию, которая отделяла лагеря от окружающего мира, словно они и их узники больше не были частью мира живых. Эту изоляцию, уже характерную для всех ранних форм концентрационных лагерей, но доведенную до совершенства только при тоталитарных режимах, трудно сравнить с изоляцией тюрем, гетто или лагерей принудительного труда. Тюремны никогда реально не исключаются из общества, они являются его важной частью и подчиняются его законам и контролю. Принудительный труд, как и другие формы рабства, не предусматривает абсолютной сегрегации; работники в силу самого факта своего труда постоянно входят в контакт с окружающим миром, и рабы никогда реально не устранялись из окружающей обстановки. Гетто нацистского типа имеют максимальное сходство с изоляцией концентрационных лагерей; но в них были сегрегированы семьи, а не индивиды, так что они представляли собой некий вид закрытого общества, где имела место видимость нормальной жизни и социальные отношения поддерживались в достаточной степени для того, чтобы создавать хотя бы подобие совместного бытия и солидарности.

Ничего похожего не было в концентрационных лагерях. С момента ареста во внешнем мире никто ничего не должен был слышать о заключенном; он как будто бы исчезал с поверхности земли; он даже не объявлялся умершим. Более ранний обычай СА сообщать семье о смерти узника концентрационного лагеря, отправляя им почтой цинковый гроб или урну, был отменен. На смену ему пришли строгие инструкции о том, что «третьи лица (должны оставаться) в неведении относительно местонахождения заключенных... Это также предусматривает то, что родственники ничего не должны знать о смерти заключенных в концентрационных лагерях»<sup>28</sup>.

Высшей целью всех тоталитарных правлений является не только свободно признаваемое, долгосрочное стремление к мировому господству, но также и никогда не признаваемая неизменная попытка установить тотальное доминирование над человеком. Концентрационные лагеря – это экспериментальные лаборатории тотального доминирования, ибо, в силу природы человека, такой, какая она есть, эта цель может быть достигнута только в экстремальных условиях рукотворного ада. Тотальное доминирование достигается тогда, когда человек, некоторым образом, всегда образующий особую смесь спонтанности и обусловленности, трансформируется в полностью обусловленное существо, чьи реакции можно рассчитать, даже когда его ведут на верную смерть. Этот распад личности осуществляется через несколько стадий. Первая из них – момент произвольного ареста, когда уничтожается правосубъектность, не в силу несправедливости ареста, но потому, что арест вообще никак не связан с действиями или мнениями личности. Вторая стадия разрушения затрагивает нравственную личность и достигается через отделение концентрационных лагерей от остального мира, отделения, которое делает мученичество бессмысленным, пустым и смехотворным. Последней стадией является разрушение самой индивидуальности, что достигается постоянством и институционализацией мучений. Конечным итогом является сведение человеческих существ к наиболее возможному знаменателю «идентичных реакций».

Именно с обществом таких человеческих существ, каждое из которых находится на различных стадиях своего пути к набору безотказных реакций, призваны иметь дело социальные науки, когда они пытаются исследовать социальные условия лагерей. Именно в этой атмосфере, где имеет место смешение преступников, политических противников режима и «невинных людей», подъем и падение правящих классов, возникновение и исчезновение внутренних иерархий, враждебность по отношению к эсэсовским надзирателям или лагерной адми-

<sup>28</sup> Nazi Conspiracy, VII, 84. Один из многих приказов, запрещающих информировать о местопребывании заключенных, дает следующее объяснение: «сдерживающий эффект этих мер кроется (а) в том, что допускается бесследное исчезновение обвиненных и (б) в том, что никакая информация вообще не может быть предоставлена относительно их местопребывания и их участи». Ibid., I, 146.

нистрации сменяется соучастием, узники усваивают жизненные взгляды своих гонителей, хотя последние редко пытаются насаждать их<sup>29</sup>. Нереальность, окружающая этот адский эксперимент, столь сильно ощущаемая самими заключенными и заставляющая надзирателей, но также и узников забывать, что совершается убийство, когда убивают кого-то или многих, является столь же существенным препятствием для научного подхода, как и неутилитарный характер института. Только люди, по той или иной причине более не руководствующиеся обычными мотивами собственной выгоды и здравого смысла, могут предаться фанатизму псевдонаучных убеждений (относительно законов жизни или природы), которые для всех непосредственных практических целей были бы совершенно очевидно самоопровергающимися. «Нормальные люди не знают, что возможно все» сказал один из выживших в Бухенвальде. Обществоведы, будучи нормальными людьми, будут испытывать большие трудности с пониманием того, что ограничения, обычно считающиеся внутренне присущими состоянию человека, могут быть преодолены, что поведенческие модели и мотивы, обычно отождествляемые не с психологией какой-то нации или класса в какой-то конкретный момент истории, а с человеческой психологией в целом, устраняются или играют совершенно второстепенную роль, что объективными потребностями, воспринимаемыми как ингредиенты самой реальности, согласованность с которыми кажется всего лишь вопросом элементарного здравого смысла, можно пренебречь. При наблюдении извне жертва и гонитель выглядят так, как будто они оба безумны, и внутренняя жизнь лагерей более всего напоминает наблюдателю сумасшедший дом. Наш здравый смысл, натренированный утилитаристским мышлением, для которого добро и зло имеют смысл, ничем не оскорбляется так сильно, как полной бессмысленностью мира, где наказание карает невинного больше, чем преступника, где труд не приносит результата и не нацелен на его достижение, где преступления не приносят выгоды тем, кто их совершает, и даже не рассчитаны на это. Ибо выгода, ожидаемая через века<sup>30</sup>, вряд ли может именоваться стимулом, тем более в кризисной ситуации на войне.

Тот факт, что благодаря безумной последовательности эта целая программа искоренения и уничтожения может быть выведена из исходных посылок расизма, озадачивает еще более, ибо идеологический высший смысл, так сказать, возведенный на трон над миром создаваемой бессмысленности, объясняет «все» и тем самым ничего. Однако крайне мало сомнений в том, что совершившие эти беспрецедентные преступления сделали это во имя своей идеологии, которую они считали доказанной наукой, опытом и законами жизни.

Сталкиваясь с многочисленными сообщениями выживших, которые с замечательным однообразием «описывают, но не могут передать» одни и те же ужасы и реакции на них, почти поддаешься искушению составить список феноменов, не вписывающихся в наши самые общие представления о человеке и поведении. Мы не знаем и можем только догадываться, почему преступники выдерживали пагубное влияние лагерной жизни дольше, чем другие категории заключенных, и почему невинные люди всегда быстрее всего распадались как личности. Похоже, что в такой экстремальной ситуации для индивида важнее, что его страдания могут быть интерпретированы как наказание за некоторое реальное преступление или некоторое реальное противостояние правящей группе, чем иметь так называемую чистую совесть. Полное отсутствие даже рудиментарных сожалений у нацистских преступников после окончания войны, когда некоторые жесты самообвинения могли бы быть полезны в суде, вместе с постоянно повторяемыми заверениями, что ответственность за преступления лежит на некоторых высших властях, по-видимому, показывает, что страх ответственности не только сильнее совести, но и сильнее, при некоторых обстоятельствах, страха смерти. Мы знаем, что целью кон-

<sup>29</sup> При Гиммлере «любого рода обучение на идеологической основе» было прямо запрещено.

<sup>30</sup> Особенностью Гиммлера было мыслить веками. Он ожидал, что результаты войны будут достигнуты только «через века», в виде «Германской мировой империи» (См. его речь в Харькове в апреле 1943 г. в: *Nazi Conspiracy*, IV, 572ff.

центрационных лагерей было служить лабораториями по превращению людей в набор реакций, в «собак Павлова», по выкорчевыванию из человеческой психологии любых следов спонтанности. Но мы можем только догадываться, насколько далеко можно реально в этом зайти – и ужасная покорность, с которой все люди шли на верную смерть в лагерных условиях, и поразительно малый процент самоубийств являются пугающими показателями – и что реально происходит с социальным и индивидуальным поведением после того, как этот процесс доведен до пределов возможного. Мы знаем об общей атмосфере нереальности, которую выжившие описывают столь одинаково; но мы можем только догадываться, в каких формах проживается человеческая жизнь, когда она проживается так, будто действие происходит на другой планете.

В то время как наш здравый смысл заходит в тупик, сталкиваясь с действиями, не являющимися ни вдохновленными страстью, ни утилитарными, наша этика неспособна справиться с преступлениями, которых не предвидели «десять заповедей». За убийство бессмысленно вешать человека, который принимал участие в массовом производстве трупов (хотя, конечно, мы вряд ли можем поступить иначе). Это были преступления, которым, по-видимому, не соответствует никакое наказание, поскольку любое наказание ограничено смертной казнью.

Величайшей опасностью для верного понимания нашего недавнего прошлого является слишком понятная тенденция историков проводить аналогии. Дело в том, что Гитлер не был похож на Чингисхана и не был хуже какого-то другого великого преступника, а был совершенно другим. Беспрецедентным является ни само убийство, ни количество жертв и даже ни «число людей, объединившихся для совершения этих преступлений». Намного более беспрецедентны идеологическая бессмыслица, ставшая их причиной, механизация их исполнения и тщательное и просчитанное создание мира умирания, в котором ничто больше не имело смысла.

## Человечество и террор<sup>31</sup>

История учит нас, что террор как средство привести людей к покорности путем запугивания может проявляться в бесконечном разнообразии форм и может быть тесно связан с большим количеством политических и партийных систем, ставших знакомыми нам. Террор тиранов, деспотов и диктаторов засвидетельствован документально с древних времен, террор революций и контрреволюций, большинства против меньшинств и меньшинств против большинства человечества, террор плебисцитарных демократий и современных однопартийных систем, террор революционных движений и террор небольших групп заговорщиков. Политическая наука не может удовлетвориться просто установлением того факта, что террор применялся для устрашения людей. Она скорее должна разграничивать формы террора и прояснять различия между всеми этими формами террористических режимов, формами, которые наделяют террор совершенно различными функциями в рамках каждого режима.

Далее мы будем рассматривать только тоталитарный террор, как он проявляется в двух тоталитарных политических системах, наиболее нам знакомых: в нацистской Германии после 1938 г. и Советской России после 1930 г. Ключевая разница между тоталитарным террором и всеми другими известными нам формами террора не в том, что он в количественном плане осуществлялся более широкомасштабно и потребовал больше жертв. Кто дерзнет измерять и сравнивать страх, который испытали люди? И кто не задавался вопросом, нет ли тесной связи между количеством жертв и растущим безразличием к ним и ростом численности населения, воспитавшим во всех современных массовых государствах нечто вроде азиатского безразличия к ценности человеческой жизни и более даже не скрываемого убеждения в чрезмерности количества людей?

Где бы мы ни обнаруживали террор в прошлом, он коренится в применении силы, которое берет начало за пределами права и, во многих случаях, сознательно применяется для того, чтобы снести ограды закона, защищающие свободу человека и гарантирующие права и свободы граждан. Из истории нам знаком массовый террор революций, в чьей ярости гибнут виновные и невинные до тех пор, пока кровавая баня контрреволюции не удушит эту ярость в апатии или пока новая власть закона не положит конец террору. Если выделить две формы террора, которые исторически были наиболее эффективными и политически самыми кровавыми – террор тирании и террор революции, – мы вскоре увидим, что они направлены к некоторой цели и находят цель. Террор тирании достигает цели тогда, когда он парализует или даже полностью уничтожает всю общественную жизнь и делает из граждан частных лиц, лишая их интереса к общественным делам и связи с ними. А общественные дела, конечно, касаются намного большего, чем то, что мы обычно ограничиваем понятием «политика». Тиранический террор приходит к концу, когда он устанавливает в стране могильный покой. Окончанием революции является новый кодекс законов – или контрреволюция. Террор приходит к концу, когда уничтожена оппозиция, когда никто не осмеливается и пальцем пошевелить или когда революция истощает все запасы сил.

Тоталитарный террор потому так часто путают с мерами устрашения тирании или террором гражданских войн и революций, что известные нам тоталитарные режимы выросли прямо из гражданских войн и однопартийных диктатур и в начале своего пути, до того, как стали тоталитарными, применяли террор точно таким же образом, как и другие деспотические режимы, известные нам из истории. Поворотный момент, когда определяется, останется ли однопартийная система диктатурой или разовьется в некоторую форму тоталитарного правления, всегда приходит тогда, когда последние остатки активной или пассивной оппозиции в стране оказы-

---

<sup>31</sup> Речь на немецком языке для радиоуниверситета RIAS Radio University, 23 марта 1953 г.

ваются потоплены в крови и ужасе. Однако подлинный тоталитарный террор начинается только тогда, когда у режима больше нет врагов, которых можно было бы арестовать и замучить до смерти, и когда даже различные категории подозрительных уничтожены и не могут быть более подвергнуты «превентивному аресту».

Из этой первой характеристики тоталитарного террора – что он не сокращается, но возрастает по мере сокращения оппозиции – вытекают следующие две ключевые черты. Террор, направленный ни против подозреваемых, ни против врагов режима, может обратиться только на абсолютно невинных людей, не сделавших ничего плохого и в буквальном смысле слова не знающих, почему их арестовывают, отправляют в концентрационные лагеря или ликвидируют. Следствием этого является второй ключевой фактор, а именно то, что могильный покой, стелющийся по земле при чистой тирании, как и при деспотической власти победоносных революций, во время которого страна может восстановиться, никогда не даруется стране при тоталитарной власти. Террору нет конца, и для таких режимов отсутствие мира – это дело принципа. Как и обещают тоталитарные движения своим сторонникам до прихода к власти, все остается в постоянном движении. Троцкий, автор выражения «перманентная революция», понимал, что это реально значит, не лучше, чем Муссолини, которому мы обязаны термином «тотальное государство», знал, что означает тоталитаризм.

Это ясно и по отношению к России, и к Германии. В России концентрационные лагеря, первоначально строившиеся для врагов советского режима, начали расти в гигантских масштабах после 1930-го то есть в то время, когда не только было сокрушено вооруженное сопротивление времен гражданской войны, но и когда Сталин ликвидировал оппозиционные группы внутри партии. В первые годы нацистской диктатуры в Германии было не больше десяти лагерей, в которых содержалось не более 10000 заключенных. Примерно к 1936 г. все действительное сопротивление режиму исчезло, отчасти из-за того, что предшествовавший и чрезвычайно кровавый и жестокий террор уничтожил все его активные силы (число смертей в первых концентрационных лагерях и застенках гестапо было крайне велико), и отчасти потому, что наглядное решение проблемы безработицы расположило к нацистам многих представителей рабочего класса, первоначально бывших их противниками. Именно в это время, в первые месяцы 1937 г., Гиммлер произнес свою знаменитую речь перед вермахтом, в которой высказался о необходимости значительного расширения концентрационных лагерей и объявил, что это будет предпринято в ближайшем будущем. К началу войны было уже более сотни концентрационных лагерей, в которых, начиная с 1940 г. и далее, постоянно содержалось в среднем около миллиона узников. Соответствующие цифры для Советского Союза намного выше: они варьируются от 10 до 25 миллионов человек.

Тот факт, что террор становится тоталитарным после ликвидации политической оппозиции, не означает, что тоталитарный режим с того времени полностью отказывается от актов устрашения. Первоначальный террор заменяется драконовским законодательством, которое фиксирует в законах, что будет считаться «преступлением» – межрасовые сексуальные отношения или опоздание на работу, то есть недостаточное усвоение большевистской системы, в которой душа и тело рабочего принадлежит процессу производства, направляемого принципами политического террора, – и так ретроактивно легализует первоначальное царство террора. Эта ретроактивная легализация условий, созданных революционным террором, является естественным шагом в революционном законодательствовании. Новые драконовские меры должны были положить конец внеправовому террору и создать новое революционное право. Характерным для тоталитарных режимов является не то, что они тоже принимают новые законы такого рода, например, Нюрнбергские, а то, что они на этом не останавливаются. Вместо этого они сохраняют террор в качестве силы, Действующей вне права. Вследствие этого тоталитарный террор обращает не больше внимания на законы, принятые тоталитарным режимом, чем на те, что действовали до захвата этим режимом власти.

Все законы, включая большевистские и фашистские, становятся фасадом, задача которого состоит в том, чтобы постоянно показывать людям, что законы, каким бы ни был их характер или происхождение, на самом деле не имеют значения. Это становится совершенно ясно из документов Третьего рейха, которые демонстрируют как нацистские судьи и даже партийные органы безнадежно пытались судить преступления в соответствии с определенным кодексом законов и защищать надлежащим образом осужденных от «эксцессов» террора. Здесь можно привести только один пример из многих: мы знаем, что люди, приговоренные за нарушение расовых законов после 1936 г. и отправленные в тюрьму в соответствии с обычными правовыми процедурами, отсидев свои тюремные сроки, были отправлены в концентрационные лагеря.

Из-за своей расистской идеологии нацистской Германии наполнять свои концентрационные лагеря в основном невинными людьми было гораздо проще, чем Советскому Союзу. Она могла поддерживать некоторое ощущение порядка, не нуждаясь в том, чтобы придерживаться каких-либо критериев вины или невинности, просто подвергая аресту некоторые расовые группы ни на каких других основаниях, кроме расовой принадлежности. Сначала, после 1938 г., это были евреи; затем, без разбора, представители восточноевропейских этнических групп. Поскольку нацисты объявили эти негерманские этнические группы врагами режима, это могло поддерживать видимость их «вины». Гитлер, который в этом вопросе, как и во всех других, всегда обдумывал наиболее радикальные и далеко идущие меры, предвидел время, когда эти группы будут искоренены и появится необходимость в новых категориях. Поэтому в проекте всеобъемлющего закона о здравоохранении в рейхе от 1943 г. он предлагал после окончания войны провести рентгенографию всех немцев и поместить в концентрационные лагеря все семьи, члены которых страдали легочными или сердечными болезнями. Если бы эта мера была осуществлена, – а мало сомнений в том, что в случае победы в войне это была бы одна из первых мер в послевоенной повестке дня, – то гитлеровская диктатура подвергла бы немецкий народ такому же истреблению, как большевистский режим – русский. (Мы, конечно, знаем, что подобное систематическое истребление гораздо эффективнее самых кровавых войн. В годы искусственно организованного голода на Украине и так называемого раскулачивания этого региона каждый год погибало больше людей, чем в крайне жестокой и кровавой войне, которая шла в Восточной Европе).

В России также, во времена, когда допускались такие действия, категория невинно осужденных определялась при помощи ряда критериев. Так, не только поляки, бежавшие в Россию, но также и россияне польского, немецкого или прибалтийского происхождения во время войны в огромных количествах оказывались в концентрационных лагерях и гибли в них. И разумеется, те люди, которые были убиты, депортированы или брошены в концлагеря, объявлялись либо представителями так называемых отмирающих классов, таких как кулаки или мелкая буржуазия, либо сторонниками одного из ныне предполагаемых заговоров против режима – троцкистами, титоистами, агентами Уолл-стрит, космополитами, сионистами и т. д. Независимо от того, существуют такие заговоры или нет, уничтожаемые группы не имеют с ними вообще ничего общего, и режим очень хорошо знает это. Да, у нас нет документации, подобной той, что в удручающем изобилии имеется для нацистского режима, но мы имеем достаточно информации, чтобы знать, что аресты регулировались из центра и для каждой части Советского Союза устанавливались свои процентные показатели. Это способствует намного более произвольным арестам, чем в нацистской Германии. Бывало, что, когда некоторые заключенные в колонне на марше падали и оставались лежать, умирая, на обочине дороги, ответственный за сопровождение колонны солдат арестовывал любых попавшихся на пути людей и заставлял их присоединиться к колонне, чтобы его квота не была нарушена.

С возрастанием тоталитарного террора по мере сокращения рядов политической оппозиции и огромного роста числа невинных жертв в результате этого тесно связана последняя

характеристика, имеющая далеко идущие последствия для совершенно меняющейся миссии и целей тайной полиции в тоталитарных государствах. Этой чертой является современная форма контроля над сознанием, которая заинтересована не столько в том, что действительно происходит в сознании заключенного, сколько в том, чтобы заставить его признаться в преступлениях, которые он никогда не совершал. Это также причина того, почему провокация практически не играет никакой роли в тоталитарной полицейской системе. Кто будет тем лицом, которое арестуют и ликвидируют, что он думает или планирует – все это уже заранее определено властями. Когда он арестован, его реальные мысли и планы не имеют вообще никакого значения. Его преступление определено объективно, не прибегая к помощи каких-либо «субъективных» факторов. Если он еврей, то он член заговора «сионских мудрецов»; если у него сердечная болезнь, то он паразит на здоровом теле немецкого народа; если он арестован в России, когда проводится антиизраильская и проарабская политика, то он сионист; если власти намерены искоренить память о Троцком, то он троцкист. И так далее.

В числе огромных трудностей на пути понимания этой новейшей формы господства (трудностей, которые в то же самое время доказывают, что мы действительно столкнулись с чем-то новым, а не просто разновидностью тирании) то, что не только наши политические понятия и дефиниции недостаточны для понимания феномена тоталитаризма, но также и то, что все наши мыслительные категории и нормы суждения, как кажется, взрываются у нас в руках в то мгновение, когда мы пытаемся их применить здесь. Если, к примеру, мы применяем к феномену тоталитарного террора категорию средств и целей, в соответствии с которой террор служит средством удержания власти, запугивания людей, поддержания в них страха и принуждения их вести себя определенным образом, становится ясно, что тоталитарный террор будет менее эффективен для достижения этой цели, чем любая другая форма террора. Страх не может быть надежным ориентиром, если то, чего я все время боюсь, может случиться со мной независимо от того, что я делаю. Тоталитарный террор может развернуться в полной мере только тогда, когда режим гарантирует себе, при помощи волны самого крайнего террора, что оппозиция стала невозможна. Конечно, могут сказать и часто говорят, что в этом случае средства становятся целью. Но это на самом деле не объяснение. Это только признание, прикрытое парадоксом, что категория средств и целей больше не работает; что террор явно не имеет цели; что миллионы людей приносятся в жертву без всякого смысла; что, как в случае массовых убийств, во время войны, эти меры на самом деле вредят интересам тех, кто их осуществляет. Если средства стали целями, если террор – это не просто средство порабощения людей при помощи страха, а цель, ради которой люди приносятся в жертву, то вопрос о смысле террора в тоталитарных системах должен ставиться иначе и получать ответ не в категориях средств и целей.

Чтобы понять смысл тоталитарного террора, необходимо обратить внимание на два примечательных факта, которые могут казаться совершенно несвязанными. Первый из них – та необычайная тщательность, с которой и нацисты, и большевики предпринимают меры по изоляции концентрационных лагерей от внешнего мира и обращению с теми, кто исчезает в них так, как будто бы они уже мертвы. Эти факты слишком хорошо известны и не требуют дальнейших подробностей. Власти вели себя одинаково в обоих известных нам случаях тоталитарного правления. О смертях не говорится ни слова. Предпринимаются все усилия для того, чтобы создалось впечатление не только о том, что человек, о котором идет речь, умер, а что его вообще никогда не существовало. Любые попытки узнать что-то о его судьбе тем самым становятся абсолютно бессмысленными. Поэтому распространенное представление, что большевистские концентрационные лагеря являются современной формой рабства и поэтому фундаментально отличны от нацистских лагерей смерти, функционировавших как фабрики, ошибочно по двум причинам. История не знает рабовладельцев, которые расходовали бы своих рабов – с такой невероятной скоростью. Отличается от других форм принудительного труда и



способ ареста и высылки, отсекающий жертв от мира живых и следящий за тем, чтобы они «отмирали» под предлогом того, что они принадлежат к отмирающему классу; то есть их истребление оправдано, потому что их смерть, хотя, возможно, и иным образом, в любом случае предопределена.

Вторым фактом является та поразительная вещь, многократно подтвержденная, особенно для большевистского режима, что никто, кроме властвующего в данный момент вождя, не защищен от террора, что сегодняшние палачи могут легко превратиться в завтрашних жертв. Для объяснения этого феномена часто ссылаются на наблюдение, что революция пожирает своих детей. Однако это наблюдение, восходящее к Французской революции, оказалось бессмысленным, когда террор продолжился после того, как революция уже пожрала всех своих детей, правые и левые группировки и остававшиеся центры власти в армии и полиции. Так называемые чистки явно представляют собой один из наиболее поразительных и постоянных институтов большевистского режима. Они более не пожирают детей революции, потому что эти дети уже мертвы. Вместо этого они пожирают партийных и полицейских чиновников, даже на самых высоких уровнях.

Миллионы заключенных в концентрационных лагерях вынуждены покориться первой из этих мер, потому что защититься от тотального террора невозможно. Партийные и полицейские функционеры покоряются второй, потому что они, вышколенные в логике тоталитарной идеологии, так же подходят на роль жертв режима, как и его палачей. Эти два фактора, эти всегда повторяющиеся черты тоталитарных властных систем, тесно связаны друг с другом. Оба они стремятся сделать бесконечное многообразие и уникальную индивидуальность людей чем-то избыточным. Давид Руссе назвал концентрационные лагеря «самым тоталитарным обществом», и лагеря действительно служат, среди прочего, также и лабораториями, в которых самые разнообразные человеческие существа сводятся к неизменному набору реакций и рефлексов. Этот процесс заходит так далеко, что любой из этих наборов реакций может быть заменен на кого угодно другого, причем убивают не какую-то конкретную личность, с именем, неповторимой идентичностью, жизнью того или иного склада и определенными установками, и импульсами, а скорее полностью неразличимую и неопределимую особь вида *homo sapiens*. Концентрационные лагеря не только истребляют людей; они также продолжают чудовищный эксперимент, в соответствии со строгими научными требованиями, по уничтожению спонтанности как элемента человеческого поведения и превращению людей в нечто меньшее, чем животное, набор реакций, который при одних и тех же условиях будет реагировать одинаково. Собака Павлова, натренированная есть не тогда, когда она голодна, а когда слышит звонок, была извращенным животным. Чтобы тоталитарная власть могла достичь своей цели тотального контроля над управляемыми, нужно было лишить людей не только свободы, но и их инстинктов и побуждений, которые не запрограммированы на порождение идентичных реакций у нас всех, но всегда подвигают различных индивидов к различным действиям. Поэтому крах или успех тоталитарной власти в конечном итоге зависит от ее способности превращать человеческие существа в извращенных животных. Обычно это вообще никогда невозможно, даже в условиях тоталитарного террора. Спонтанность никогда нельзя полностью искоренить, потому что жизнь как таковая и, несомненно, человеческая жизнь зависит от нее. Однако в концентрационных лагерях спонтанность может быть искоренена в огромной степени; или в любом случае самое тщательное внимание и усилия уделяются там экспериментам в этих целях. Понятно, что для достижения этого людей надо лишить последних следов их индивидуальности и превратить в собрания идентичных реакций; их надо отрезать от всего, что делало их уникальными, опознаваемыми индивидами в человеческом обществе. Чистота эксперимента была бы нарушена, если бы допускалось, хотя бы в качестве отдаленной возможности, что эти особи вида *homo sapiens* когда-либо существовали как настоящие человеческие существа.

На другом полюсе от этих мер и связанных с ними экспериментов находятся чистки, повторяющиеся через регулярные интервалы и делающие сегодняшних палачей завтрашними жертвами. Для чистки крайне важно, что ее жертвы не оказывают никакого сопротивления, с готовностью принимают свою новую участь и сотрудничают в ходе широко освещаемых показательных процессов, на которых они порочат и рушат свои прошлые жизни. Признаваясь в преступлениях, которых никогда не совершали и, в большинстве случаев, никогда не могли бы совершить, они публично провозглашают, что люди, которых, как мы думали, мы видели много лет, на самом деле вообще никогда не существовали. Эти чистки также являются экспериментом. Они проверяют, действительно ли власть может полагаться на идеологическое воспитание своей бюрократии, соответствует ли внутренне принуждение, созданное индоктринацией, внешнему принуждению террора, заставляя индивида беспрекословно участвовать в показательных процессах и тем самым полностью соответствовать линии режима, какие бы чудовищные вещи он ни совершал. Чистка, которая мгновенно превращает обвинителя в обвиняемого, вешателя в повешенного, палача в жертву, подвергает людей этой проверке. Так называемые убежденные коммунисты, тысячами тихо сгинувшие в сталинских концентрационных лагерях, потому что отказались давать признательные показания, не прошли этой проверки, и только тот, кто может ее пройти, действительно является частью тоталитарной системы. Помимо других целей, чистки также служат выявлению этих, так сказать, «убежденных» сторонников власти. Тот, кто поддерживает дело по своей воле, завтра может передумать. Он – ненадежный член тоталитарной команды. Надежны только те, кто не только достаточно знает или достаточно обучен, чтобы не иметь мнения, но даже больше не знает, что такое быть убежденным. Эксперименты чисток продемонстрировали, что идеальным типом тоталитарного функционера является тот, кто функционирует несмотря ни на что, у кого нет жизни за пределами его функции.

Тоталитарный террор, таким образом, более не является средством достижения цели; он есть сама сущность такой власти. Его высшей политической целью является формирование и поддержание существования общества, основанного на господстве некоторой расы, или того, в котором классы и нации более не существуют, в котором каждый индивид был бы не более чем отдельной особью вида. Тоталитарная идеология считает этот вид человеческой расы воплощением всепроникающего, всемогущего закона. Рассматривается ли он как закон природы или закон истории, этот закон представляет собой закон бурлящего движения, находящего свое воплощение в человечестве и постоянно приводимого в действие тоталитарными лидерами.

Отмирающие классы или упадочные расы, которым история или природа в любом случае вынесла приговор, будут первыми преданы уничтожению, уже предписанному им. Идеологии, проводимые в жизнь тоталитарными властями с непоколебимой и беспрецедентной последовательностью, не являются изначально тоталитарными и значительно старше тех систем, в которых нашли свое полное выражение. Внутри своих собственных лагерей, Гитлер и Сталин часто обвинялись в посредственности, поскольку ни один из них не обогатил свою идеологию новой бессмыслицей. Но при этом забывается, что эти политики, следуя предписаниям своих идеологий, не могли не открыть подлинной сущности законов природы и истории, движение которых они должны были ускорить. Если уничтожать то, что вредно и непригодно для жизни, – закон природы, то разовое террористическое уничтожение определенных рас не слишком хорошо отвечает логически последовательной расовой политике, ибо когда невозможно найти новые категории паразитических и нездоровых жизней, это означает конец природы вообще – или, по крайней мере, конец расовой политики, которая стремится служить такому закону природы. Или если «отмирание» определенных классов представляет собой закон исторического развития, то, невозможность найти новые классы, которые нужно заставить отмереть, означает для тоталитарной власти конец человеческой истории. Иными словами, закон убийств, закон, при помощи которого тоталитарные движения приходят к власти, остается в силе как закон самих

движений; и он остался бы неизменным, даже если бы произошло невероятное, то есть даже если бы они достигли своей цели, подчинив все человечество своей власти.

## Карл Ясперс<sup>32</sup>. Laudatio<sup>33</sup>

Мы собрались сегодня на вручение Премии мира. Премия эта (позволю себе процитировать президента Федеративной республики) присуждена не только за «выдающееся литературное творчество», но и за «испытание, выдержанное в деятельной и страдательной жизни». Таким образом, она присуждена лицу и присуждена творчеству – постольку, поскольку последнее остается сказанным словом и словом-поступком, которое еще не отрешилось от своего автора и еще не вступило на неопределенный, всегда щедрый на приключения путь сквозь историю. Поэтому при вручении этой премии уместно будет *laudatio* – похвальное слово, имеющее целью прославить не столько творчество, сколько самого человека. Научиться такой похвале можно, наверное, у римлян, которые – более, чем мы, умудренные в делах общественной важности – разясняют, к чему должна стремиться подобная похвала: «*in laudationibus... ad personarum dignitatem omnia referrentur*», сказал Цицерон<sup>34</sup> – в «хвалебных (речах)... все сводится к оценке данного лица». Иными словами, похвальная речь имеет предметом достоинства, которыми обладает человек, поскольку он превосходит все свои дела и произведения. Распознать и прославить эти достоинства – не дело коллег и экспертов; судить о жизни, выставленной на публичное обозрение и выдержавшей испытание в публичной сфере, должна общественность. Премия лишь подтверждает то, что общественность эта давно уже знала.

Следовательно, *laudatio* может лишь попробовать выразить то, что всем вам известно. Но сказать гласно то, что знают многие в уединении своей приватности, – дело не праздное. Само всеуслышание придает предмету освещенность, подтверждающую его реальное существование. Однако я должна признаться, что этот «риск публичности» (Ясперс) и ее прожекторов я беру на себя нерешительно и робея. Все мы современные люди и на публике движемся неуверенно и неловко. Рабы современных предрассудков, мы считаем, что публике принадлежит только «объективное произведение», отдельное от лица; что стоящее за ним лицо и его жизнь – частное дело и что относящиеся к этим «субъективным вещам» чувства утратят подлинность и превратятся в сентиментальность, если их выставить на всеобщее обозрение. На самом же деле, решив, что при вручении премии должно прозвучать *laudatio*, Немецкая книготорговля вернулся к более раннему и более верному смыслу публичности, согласно которому, чтобы обрести полноту реальности, человеческое лицо как раз и должно появиться на публике во всей своей субъективности. Если мы принимаем этот ново-старый смысл, то должны переучиться и отказаться от привычки приравнивать личное к субъективному, объективное – к вещно-безличному. Происходят эти уравнивания из естественных наук, и там они осмысленны. Они очевидно бессмысленны в политике, где люди в принципе выступают как действующие и говорящие лица и где, таким образом, личность ни в коей мере не есть частное дело. Но эти уравнивания теряют силу и в публичной интеллектуальной жизни, которая, безусловно, включает и далеко превосходит сферу жизни академической.

Говоря точнее, мы должны научиться различать не между субъективностью и объективностью, но между индивидом и лицом. Действительно, предлагает, отдает публике какое-то объективное произведение отдельный субъект. Субъективный элемент, скажем приведший к произведению творческий процесс, вообще публики не касается. Но если это произведение не только академическое, если оно еще и итог «испытания, выдержанного в жизни», то произведение это сопровождают живые действие и голос; вместе с ними является само лицо. Что

---

<sup>32</sup> Речь при вручении Премии мира Немецкой книготорговли Карлу Ясперсу.

<sup>33</sup> Похвальное слово (*лат.*).

<sup>34</sup> *De oratore* I, 141 (Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве (пер. ФА. Петровского). – М., 1972. С. 102).

именно здесь явлено, этого сам предъявляющий не знает; он не может это контролировать, как контролирует произведение, которое подготовил для публикации, для выхода в свет. (Всякий, кто сознательно втаскивает свою личность в произведение, актерствует и тем самым проигрывает реальный шанс, который эта публикация означает для него и других.) Личностное стоит вне контроля субъекта и, следовательно, составляет точную противоположность всего лишь субъективного. Но именно субъективность «объективно» гораздо легче постижима и гораздо легче дается в распоряжение субъекта. (Под самообладанием, например, мы просто подразумеваем, что мы способны овладеть этим чисто субъективным элементом в себе, чтобы использовать его по своему усмотрению.)

Личность – совершенно иное дело. Она труднопостижима и, наверное, больше всего похожа на греческого «даймона» – духа-хранителя, сопровождавшего каждого человека всю его жизнь, но всегда только выглядывавшего у него из-за плеча – так что его легче было увидеть всем, кто с этим человеком встречался, нежели самому человеку. Этот «даймон» (в котором нет ничего демонического), этот личный элемент в человеке может появиться лишь там, где есть публичное пространство; в этом – более глубокое значение публичной сферы, далеко превосходящее то, что мы обычно подразумеваем под политической жизнью. Поскольку эта публичная сфера – сфера также и духовная, постольку в ней проявляется то, что римляне называли *humanitas*. Так они называли нечто, составлявшее самую вершину человечности, поскольку оно истинно, не будучи объективным. Именно это Кант и Ясперс называли *Humanität* – истинную личностность, которая, однажды обретенная, уже не покидает человека, хотя бы все прочие дары тела и души уже уступили разрушительному времени. *Humanitas* никогда не приобретается ни в одиночестве, ни благодаря тому, что человек отдает свое произведение публике. Ее приобретает лишь тот, кто подвергает свою жизнь и личность «риску публичности» – тем самым рискуя проявить что-то не «субъективное» и, по этой самой причине, то, что сам он не может ни распознать, ни контролировать. Таким образом, «риск публичности», в котором приобретается *humanitas*, становится даром человечеству.

Называя личное начало, с Ясперсом вступающее в публичную сферу, словом, *humanitas*, я имею в виду, что никто лучше, чем он не поможет нам преодолеть наше недоверие к этой публичной сфере, почувствовать, какая это честь и радость – во всеуслышание хвалить того, кого мы любим. Ибо Ясперс никогда не разделял предрассудка интеллигентных людей, будто яркий свет публичности делает все мелким и плоским, будто благоприятен он только для посредственности и будто поэтому философ должен от этого света уклоняться. Вы помните мнение Канта, что пробным камнем для отличения подлинно сложного философского текста от «изошренного пустозвонства» служит его пригодность к популяризации. И Ясперс, который в этом отношении – как, кстати, и во всех прочих – единственный наследник Канта, не раз, подобно Канту, покидал академическую сферу и ее терминологию, чтобы обратиться к широкой читательской публике. Более того, он трижды – впервые незадолго до прихода нацистов к власти в «Духовной ситуации нашего времени» (1931), затем сразу после падения Третьего рейха в «Вопросе о вине» и теперь в «Атомной бомбе и будущем человека» – прямо вмешивался в злободневные политические вопросы<sup>35</sup>. Ведь он, как и настоящий государственный деятель, знает, что политические вопросы слишком серьезны, чтобы их доверять политикам.

Утверждение публичной сферы у Ясперса уникально, так как оно исходит от философа и проистекает из фундаментального убеждения, на котором основана вся его деятельность в качестве философа: что и философия, и политика касаются всех. Вот это и объединяет философию и политику; вот в этом и заключается причина того, что обе они принадлежат публичной сфере, где берутся в расчет человеческая личность и ее способность пройти испытание.

---

<sup>35</sup> Самая важная политическая публикация Ясперса с 1958 года, когда была написана эта речь, – это *Wohin treibt die Bundesrepublik* (1966).

Философ – в отличие от ученого – схож с политиком, поскольку должен отвечать за свои мнения, поскольку сам как личность несет ответственность. Более того, положение политика даже легче, так как он отвечает только перед собственным народом, тогда как Ясперс, по крайней мере во всех своих сочинениях после 1933 года, всегда писал так, словно держал ответ перед всем человечеством.

Для него ответственность – отнюдь не бремя и не имеет ничего общего с моральными императивами. Скорее, она проистекает из врожденной тяги к обнародованию, к прояснению неясного, к просветлению темного. Его утверждение публичной сферы – в конечном счете, лишь следствие его любви к свету и ясности. Он любил ясность так долго, что она наложила отпечаток на всю его личность. В произведениях великого писателя мы почти всегда можем отыскать присущую только ему устойчивую метафору, в которой все его творчество словно сходится в фокус. В творчестве Ясперса одна из таких метафор – слово «ясность». Существование «проясняется» разумом; «модусы охвата» (с одной стороны, есть наше сознание, которое «охватывает» все, с чем мы сталкиваемся, с другой – есть мир, который «охватывает» нас, есть «внутринаходимость, посредством которой мы существуем») разум «выводит на свет»; наконец, сам разум, его близость к истине, удостоверяется его «простором и ясностью». Все, что выдерживает свет и не испаряется под его яркостью, причастно *humanitas*; взять на себя ответственность перед человечеством за каждую мысль – значит, жить в той освещенности, в которой держит испытание сам человек и все, что он думает.

Задолго до 1933 года Ясперс был, что называется, «знаменит», как бывают и другие философы, но только во время гитлеровского периода и особенно в последующие годы он стал публичной фигурой в полном смысле слова. Связано это было не только – как можно было бы подумать – с обстоятельствами времени, которые сперва вытеснили его в безвестность гонимых, а затем превратили в символ изменившихся времен и позиций. Если обстоятельства и играли здесь какую-то роль, они лишь вытолкнули его на то место, которое ему предназначалось по природе, – на полный свет публичного мнения. Не то что он сперва пострадал, потом в этом страдании достойно выдержал испытание и наконец, когда положение стало критическим, стал воплощением так называемой «другой Германии». В таком смысле он вообще ничего не воплощал. Он всегда стоял совершенно один и оставался независим от любых группировок, включая немецкое движение сопротивления. Величественность этой позиции, которая держится только за счет веса самой личности, – именно в том, что, не воплощая ничего, кроме собственного существования, он удостоверял, что даже во тьме тотального господства, в которой все то хорошее, что еще могло сохраниться, становится абсолютно невидимо и потому бездейственно, – что даже тогда разум можно уничтожить, лишь убив – фактически и буквально – всех разумных людей.

Было самоочевидно, что он останется тверд до конца посреди катастрофы. Но все происходившее не оказалось для него даже искушением – и эта его, менее очевидная, неуязвимость для тех, кто о нем знал, означала намного больше, чем сопротивление и героизм. Она означала доверие, не нуждавшееся в подтверждениях, означала уверенность, что в эпоху, когда возможным казалось что угодно, что-то все же оставалось невозможным. Оставаясь совершенно один, Ясперс воплощал не Германию, а то, что в Германии сохранилось от *humanitas*. Как будто он в одиночку в своей неуязвимости мог осветить то пространство, которое разум создает и сохраняет между людьми, и как будто свет и простор этого пространства сохраняются, даже если в нем останется всего один человек. На самом деле этого не было и даже не могло быть. Ясперс часто говорил: «В одиночку, сам по себе человек не может быть разумным». И в этом смысле он никогда не был один и никогда не ставил такое одиночество сколько-нибудь высоко. *Humanitas*, за существование которой он ручался, вырастала из родного для его мышления пространства, а пространство это никогда не было необитаемо. Отличает Ясперса то, что в этом пространстве разума и свободы он чувствует себя уверенней, движется с большей легкостью, чем другие,

кто, может быть, с этим пространством и знаком, но не выдерживает постоянного пребывания в нем. Именно потому, что само его существование сформировано страстью к ясности, и могло получиться, что он был как свет во тьме, светящий из какого-то скрытого светового источника.

В том, что человек может быть неуязвим, неискусим, непреклонен, есть что-то завораживающее. Если бы мы захотели объяснить это в психологических и биографических категориях, мы могли бы, наверное, вспомнить о родительском доме, из которого Ясперс вышел. Его отец и мать оставались тесно связаны с гордым и упрямым фризским крестьянством, обладавшим чувством независимости, в Германии совершенно необычным. Но свобода – больше, чем независимость, и Ясперсу еще предстояло развить из независимости рациональное сознание свободы, в котором человек сознает себя как самому себе подаренного. Но суверенная естественность – какая-то веселая беспечность (*Ubermut*), как он сам иногда говорит, – с которой он отдается публичности, оставаясь при этом независим от всех модных течений и мнений, тоже, вероятно, следствие этой крестьянской самоуверенности – по крайней мере, из нее происходит. Ему стоит только, так сказать, вмечаться в свои личные истоки, а потом вернуться оттуда на простор человечности, чтобы убедиться, что даже в изоляции он воплощает не частное мнение, а иную, еще скрытую общественность – «тропинку», как сказал Кант, которая когда-нибудь непременно превратится «в столбовую дорогу»,

Такая безошибочность суждения и суверенность разума таят в себе риск. Неподверженность искушениям может привести к отсутствию опыта – или, по крайней мере, к неопытности в том, что любая конкретная эпоха предлагает в качестве реальности. И действительно, что может быть дальше от современного опыта, чем гордая независимость, из которой Ясперс был родом, чем веселая беззаботность по отношению к тому, что говорят и думают люди? Здесь нет даже и бунта против условностей, поскольку здесь условности всегда признаются именно в качестве таковых и никогда не принимаются всерьез как мерила поведения. Что может быть дальше от нашей *ère de soupçon*<sup>36</sup> (Натали Саррот), чем уверенность, лежащая в глубоком основании этой независимости, чем тайное доверие к человеку, к *humanitas* человеческой расы?

И раз уж мы уже обратились к субъективно-психологическим материям: Ясперсу было пятьдесят лет, когда Гитлер пришел к власти. В этом возрасте подавляющее большинство людей уже давно перестало пополнять свой опыт, и особенно интеллигенты обычно уже так давно закоснели в своих мнениях, что все реальные события воспринимают только как подтверждение этих мнений. Ясперс не реагировал на решающие события этого времени (которое он предвидел не больше, чем любой другой, и к которому был готов даже меньше, чем многие другие) ни уходом в собственную философию, ни отрицанием мира, ни меланхолией. Можно было бы сказать, что после 1933 года, то есть после завершения «Философии» в трех частях, и после 1945 года, после завершения книги «Об истине», у него начинались новые периоды продуктивности, но, к сожалению, это выражение слишком тесно связано с идеей жизненного обновления, случающегося иногда у крупных талантов. Но величие Ясперса именно в том, что он обновляется, так как остается неизменен – то есть по-прежнему связан с миром и следит за текущими событиями с неизменной проницательностью и способностью к заботе.

---

<sup>36</sup> Эра подозрения (*фр.*).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.